Без риска остаться живыми

Игорь Алексеевич Акимов
Владимир Карпеко

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

военно-приключенческая повесть о разведчиках. Один из авторов Игорь Акимов — написал также представленную на Милитере культовую книгу «Легенда о малом гарнизоне».

- Акимов Игорь Алексеевич, Карпеко Владимир
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Акимов Игорь Алексеевич, Карпеко Владимир
Без риска остаться живыми

1

Разведчиков было пятеро. Они ехали на лошадях по самой кромке лесной дороги, такой прямой и такой узкой, что сама по себе напрашивалась мысль, что это — просека, приспособленная под дорогу, накатанная и наезженная просека, чуть раздавшаяся вширь, чуть раздвинувшая лес, который стоял неуступчиво, а с войной и с людьми расплатился лишь придорожным подлеском. Тупорылые тягачи и трехтонки в один день затоптали орешник, черемуху и бузину; это случилось недавно: обглоданные протекторами и траками, ветви кустарника, местами устилавшие дорогу так густо, словно ими крыли гать, еще не успели высохнуть и обуглиться.

Но лошади шли почти неслышно. Их копыта с удивительным постоянством находили рыхлый песок, ступали по нему мягко и глухо, а если даже попадали на ветку, она не хрустела; она погружалась в песок, чтобы через мгновение, спружинив, выстрелить вслед копыту призрачным пузырем пыли.

Впереди на рыжем с подпалинами жеребце ехал лейтенант Пименов. Немецкий маскировочный костюм, хотя и умело подогнанный, несколько его полнил, к тому же в седле он сидел грузно, чуть опустив голову, так что со стороны вполне могло показаться, будто он дремлет. Но достаточно было взглянуть на его напряженные сощуренные глаза и это впечатление пропадало. Лейтенант слушал лес, его тишину пронзительную, пустую, глубочайшую; он растворялся в этой тишине, став на время частью ее, частью леса, чтобы почуять, угадать в нем постороннее присутствие. Однако и этого ему казалось мало. Он придерживал коня, поднимал правую руку, и по этому знаку остальные четверо разведчиков замирали. Останавливалось время. Потом лейтенант едва заметным движением колен посылал вперед своего рыжего — и следом одновременно трогались его разведчики.

Немцев не было. И не скоро еще объявятся, думал Пименов. Местность не та. Даже для приличной засады не пригодна. Вот если бы встретилась полянка или луг — там смотри в оба. Но пока что дальний исток дороги упирался все в ту же зелень; зелень обступала дорогу, а местами даже смыкалась над нею осенней графикой ветвей. Она парила над соснами, которые отсвечивали медью, как снарядные гильзы.

Смотреть вперед было трудно. Солнце палило откуда-то сверху, но так странно, что нельзя было указать, откуда именно. Низкое свинцовое небо светилось нестерпимо; и здесь, под деревьями, каждый ствол, каждый листок по-своему отсвечивали,

и сам воздух светился, перенасыщенный электричеством.

Нестерпимо ело глаза. Стучало в виски. Зной выжимал из тела остатки влаги, и она тяжелыми ртутными каплями скатывалась по груди и между лопаток.

— Шарахнуло б уж… — негромко произнес один.

Витя Панасенков, — узнал лейтенант. Его голос. Только чего он хрипит, как старый репродуктор?

Впервые с тон минуты, как они въехали в лес, лейтенант Пименов обернулся. Панасенков ехал третьим. Он глядел в глаза лейтенанту с недоумением, мол, и сам не пойму, как это вырвалось. Ехавший вторым старшина Тяглый, в свою очередь встретив взгляд лейтенанта, только плечами пожал. Расшифровывалось это просто: ну что с него возьмешь, едрена корень? — зеленый ведь пацан, только-только из пополнения прибыл, первый раз в деле; его ж еще жареный петух не клевал, — и прочие слова в этом же духе.

Лейтенант, впрочем, не поощрил старшину даже взглядом; он вообще не показал, что по этому поводу думает и уже собрался отвернуться, как вдруг увидел в воздухе возникшую на миг падающую белую черту… чуть дальше вторую, третью…

— Похоже, вы накаркали, Панасенков, — улыбнулся лейтенант и тут же забыл об этом, потому что следовало поторопиться.

Он выехал на середину дороги и даже на стременах привстал, словно это могло помочь ему увидеть поблизости старую разлапистую ель, которая укрыла бы их от ливня. Однако перед глазами, как назло, маячили только уходящие высоко вверх голые стволы сосен, тусклых, словно посыпанных пеплом. «Да ведь как темно вокруг! Когда только оно успело?» — подумал Пименов, и тут же словно магниевая вспышка вытравила все предметы ослепительной белизной, а потом небо над самыми верхушками сосен затрещало и рухнуло грохочущими струями воды.

Пименов попробовал пустить своего рыжего рысью, но тот сейчас слушался плохо, шел боком и шарахался при каждое вспышке молнии. Мало того, его копыта скользили и он дважды оступился. А подходящей ели все не было. А потом справа даже и сосны пошли реже: при очередной вспышке разведчики увидали как бы парящую в воздухе крутую черепичную крышу. Она проступила неясно, как тень, как видение, и тут же пропала, не успев никого убедить в своей материальности.

Пименов знал, что это не может быть миражом, что это так и есть: обычная крыша, а под нею обычный дом, но что-то в этом все-таки было, потому что он не сразу стал действовать, а подождал несколько мгновений, опять увидел (теперь уже всю

мызу целиком) в дрожащем безжизненном свете — и только тогда приказал разведчикам спешиться.

Они привязали лошадей к сосне, рассредоточились и, взяв автоматы наизготовку, пошли на мызу, охватывая ее дугой.

Дома все не было видно. Он словно растаял.

Но еще через несколько шагов обозначился, а вернее сказать, стал угадываться едва уловимый силуэт; только совсем не там, где его ожидали увидеть, а немного правее. Видать, пока занимались лошадьми, чуть сбились с направления.

Дом все отчетливее проявлялся, проступал, как изображение на фотобумаге: сначала общая тень; затем на ней наметились детали — крыльцо и окна. Крыльцо едва прикрывал небольшой козырек. Часового не было. Значит, пусто. Ну и слава богу, подумал Пименов.

С этой стороны дома, северо-восточной, на разведчиков глядели три окна. Окна были небольшие, плотно закрытые; они тускло и безжизненно темнели; складные ставни были открыты и аккуратно прикреплены к стене крючками, из-под них выглядывали железные языки запоров; один ставень висел свободно, в верхней его части чернел смотровой глазок в типе бубнового туза.

Если бы в доме кто-нибудь был, с такой дистанции открыли бы огонь, подумал Пименов уже совсем успокоено.

Теперь дом был рядом. Дождь как-то перекроил законы перспективы, и разведчикам казалось, что это одноэтажное строение стало выше, монументальней, и как бы нависает над ними.

Еще несколько шагов — и они вступили в мертвую зону.

Вода лилась с крыльца ровным рябым листом. Дробный восьмиступенчатый водопад.

Внутри сапог было еще не мокро, но уже сыро. Пименов только сейчас почувствовал это, представил, каково в них будет, когда он одолеет этот тонкий, но неумолимый поток воды — и, шагая через ступеньку, взбежал наверх. Рывком открыл дверь, одновременно отпрянув за косяк вправо, прижался спиной к стене.

Разведчики хорошо знали свое дело — стояли внизу, рассредоточившись, направив автоматы на дверной проем. Старшина сделал знак: никого.

Пименов заглянул в прихожую. Пусто. Шагнул в середину, не без сожаления отметив про себя: все же раскисли хромовые…

Прихожая была просторна — четыре шага в длину. В углу вешалка, длинная, с двойным рядом подвешенных крючков; видать, рассчитанная на большой коллектив; правда, сейчас на

ней, подчеркивая пустоту, растерянно ютились старый брезентовый дождевик и старый же пиджак букле с кожаными латками на локтях. Справа у стены стояло трюмо с высоким и узким зеркалом, которое чернело, как провал. По бокам трюмо были ящики для обуви, тоже пустые.

Чисто. Сумеречно. Две двери: одна ведет прямо, другая налево.

Почувствовав за спиной присутствие разведчиков (в прихожей стало еще темней, хотя места как будто и не убавилось), Пименов приоткрыл левую дверь. Никого. Большая комната, которая не казалась просторной, так ее задавили громоздкий буфет, громоздкий обеденный стол и громоздкий же ткацкий станок. В дальнем углу была видна еще одна дверь. Пименов оглянулся, поймал взгляд старшины и мотнул головой: осмотреть. А сам подошел к двери напротив, распахнул ее и встал на пороге.

Это была кухня.

А в кухне были немцы.

Четверо.

Они расположились вокруг стола — простого, «черного», удобного для всякой кухонной работы дубового стола, — чтобы перекусить. На них были точно такие же маскировочные костюмы, как и на советских разведчиках, их «шмайссеры» с откидными металлическими прикладами, навалом брошенные на широченный подоконник, были близнецами «шмайссера», который висел на груди лейтенанта Пименова. Встреться они поздним вечером, даже не ночью, с нашими — поди разберись тогда, кто есть кто. Но здесь даже в сером свете было видно, что это немцы. Пилотки немецкие. На ногах не сапоги, а бутсы. Масло в пластмассовой коробке с закручивающейся крышкой. Серебряный позумент, тускло блеснувший на петлицах того, что стоял как раз напротив Пименова, разливая по фаянсовым кружкам шнапс. И, наконец, эти физиономии, отчетливо очерченные, в которых не было и следа той славянской неопределенности, той непостижимой для иных народов материи, из которой, как грандиозные скалы из тумана, выступают то меланхолия, то скорбь, то веселье, необузданное до куража, до донышка, то самопожертвование безоглядное во имя друга, или родины, или ребенка, при этом даже не важно, чей он, — короче говоря, та самая таинственная русская душа, никем так до конца и не расшифрованная, — здесь ею, как говорится, и близко не пахло.

Офицер поднял глаза от фляги, удивился в первое мгновение, потом чуть отпрянул, приглядываясь, — и вдруг остолбенел.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Пименов по-немецки.

2

Разведка встретила разведку.

Что это не просто вражеские солдаты, а именно разведчики, Пименов понял сразу. И больше об этом не задумывался; тем более — не пытался получить от самих немцев подтверждение. 0н это понял и принял. Впрочем, если бы впоследствии у него спросили, как он пришел к такому выводу. Пименов без труда перечислил бы множество мелких деталей, которые для него были красноречивей и убедительнее любого допроса.

На этой мызе немцы скорее всего оказались случайно. Тоже небось от дождя укрылись. Однако они успели сделать это заранее: маскировочные костюмы у них были сухие и на полу ни единой капли воды; более того, гладко выкрашенный и до блеска полированный кухонный пол хранил ясно отпечатавшиеся пыльные следы немецких рифленых подошв. Следов было немного. Пришли на минуту, только автоматы скинули; вся остальная амуниция была на них.

Что с ними делать? Взять в плен?

Вообще-то, конечно, четыре «языка», из которых один — офицер, добыча важная, и в другое время ребята уже вертели бы в гимнастерках дырки для орденов. Но… приказ остается приказом. И его надо выполнять. Да и, помимо всего прочего, Пименов никогда не забывал — несмотря на жестокую «специфику» войны — что для своих подчиненных он не только командир, но и воспитатель. И что воспитывает не одними словами, а каждым поступком и самой жизнью.

Он воспитывал и себя тоже. И потому ни за какой орден не согласился бы привести вместо настоящих «языков» эту четверку. Потому что — хотя формально к нему было бы невозможно придраться — в его собственных глазах это был бы подлог. И в самом деле: ну какой из разведчика «язык»? — так, одна только видимость. Не из того теста людей берут в разведку. Сколько бы в штабе ни изощрялись: хоть перекрестно его допрашивай, хоть на измор, когда допрос продолжается сутками, — толку не добьешься. Разведчик сначала будет молчать, а потом врать, или наоборот: сначала врать, а потом молчать. И это будет тянуться, пока не надоест штабным. И они опять пошлют ту же разведгруппу с тем же заданием: «обнаружить дислокацию оторвавшегося противника». Но ведь время будет безвозвратно потеряно, драгоценнейшее время, за которое «оторвавшийся противник» успеет вырыть окопы полного профиля, понастроить блиндажей, растянуть спираль Бруно, намотать на колья колючую

проволоку ряда в три и заминировать подходы, в особенности все танкоопасные направления. Пименов даже воочию представил, как двое здоровенных саперов катят катушку с проволокой, выдирают ее из зацепов прочной осенней травы, из коряг, ругаются, но катят и катят, а еще двое следом за ними натягивают ее на колья, приколачивая гвоздями.

…Вся эта длинная цепь соображений и ассоциаций, конечно же до предела упрощенная, пролетела в сознании лейтенанта молниеносно и остановилась лишь когда был достигнут первый итог: как «языки» эти немцы не товар.

Второй последовал тут же: не брать их вовсе.

От этой мысли Пименов сам несколько ошалел, и ему понадобилось немалое усилие, чтобы совладать с собою. Его успокоило и обнадежило простое соображение, что если предыдущая мысль выражала одно разочарование, то эта уже была радикальна; она несла в себе решение, причем решение оригинальное, неожиданное для противника. Пусть поломают себе голову, попробуют понять, что все это значит. Крепкий орешек, господа фрицы? Чтобы разгрызть, нужно время. А его-то и выгадывал Пименов. Он чувствовал, что судьба посылает ему шанс, он вел в этой партии; нужно было только придумать, как реализовать свое преимущество.

Чтобы не испортить чего-нибудь случайным неверным шагом, он оставлял все как есть.

В этот момент он и встретился глазами с вражеским офицером и произнес первое, что пришло в голову, самое нейтральное: «Продолжайте, продолжайте…»

Пименов хотел только одного; не вспугнуть немцев. Но поневоле огромная умственная работа и психическое напряжение предыдущих мгновений отразились в этих словах. И они приобрели неожиданный для самого Пименова вес. Они прозвучали, как свидетельство, что решение принято. Они стали как бы визитной карточкой Пименова. Через несколько секунд немцы опомнятся, к ним возвратится умение рассуждать н взвешивать, не упуская ни одной детали и объективно оценивая каждую; и тогда на чашу весов лягут и тон лейтенанта, и поза, и смысл его слов, и они поймут, что перед ними противник сильный и уверенный в себе он выиграл эту схватку, он победитель, но то ли ему эта победа не нужна, то ли ему ее мало… но он предлагает продолжить партию!..

А почему бы и нет?!.

Что у этого русского на уме — его дело. Он дает шанс? Отлично. Сыграем!..

Но это будет позже.

Услышав незнакомый голос, на Пименова мельком глянули еще двое немцев. Они сидели друг против друга, боком и двери, жевали огромные бутерброды с ветчиной и к тому же были заняты какой-то игрой, как определил Пименов, очень похожей на нашу «балду». Им было не до посторонних визитеров. Они тут же вернулись к своему занятию, но уже не могли произнести ни слова и даже перестали жевать: хоть и с запозданием, но и они почуяли неладное. А потом в их сознании сгруппировались в единый образ все те мелкие и малозначащие (если взять их порознь) детали, которые слету схватывает тренированный взгляд разведчика… Они опять — очень медленно повернулись к Пименову, поняли, что не ошиблись, и медленно встали… Отодвигаемые табуретки коротко скребнули по полу. Тот, что сидел возле стены, совсем еще мальчишка с тонкими чертами лица и провалившимся боксерским носом, отчего лицо казалось шире, чем было на самом деле, перестал жевать, проглотил все, что было во рту, и горестно вздохнул.

Теперь обернулся и четвертый, сидевший спиной к двери. По лицам товарищей он уже понял, что происходит. Ему не пришлось тратить драгоценные мгновения и нервную энергию на узнавание и овладение собой. Он был готов действовать немедленно-такая профессия. Он знал, что нужно бросаться не глядя. Спиной. До двери два метра — более чем достаточно, чтобы в воздухе, в полете повернуться к противнику лицом. А уж там, если не промахнешься, если успеешь ухватить русского пусть не за грудь, не за руку, хотя бы за одежду — больше ему ничего не надо… Немец знал, как надо действовать, но непроизвольное, непрофессиональное любопытство превозмогло — и он все-таки глянул через плечо. Его глаза встретились с глазами русского — и он понял, что не бросится, потому что ничего это не даст. Спина выдала его; напружинившаяся, готовая метнуть тело навстречу врагу спина все сказала русскому, и тот ждал этого прыжка; он и сейчас еще ждал — на всякий случай, мало ли что, — хотя знал, что немец уже не прыгнет.

Пименов держался свободно и даже несколько расслабленно; и хотя руки лежали на «шмайссере», было видно, что так ему удобно, а больше это ровным счетом ничего не означает. В самом деле: не наставлять же автомат на немцев, если затеваешь с ними такую сложную игру. Просто он был уверен в себе, уверен в том, что знает, как сейчас будут вести себя враги; он мог себе позволить быть естественным. Немцы это поняли — и признали его силу.

Правда, был момент, когда у них проявилось едва уловимое движение, словно их всех одновременно чуть качнуло к

подоконнику, где навалом лежали их автоматы. Впрочем, может быть, этого движения и не было, — оно бы слишком ко многому обязывало и слишком многое ставило на карту. Может быть, оно только почудилось — ведь мысленно они все время были возле этого злосчастного подоконника, все время меряли и пересекали в своем воображении расстояние до него. Тут их было нетрудно понять.

Как бы там ни было, в какой-то момент Пименову почудилось: вот сейчас… Но в немцах уже пропало это. Через другую дверь, ведущую в жилые комнаты, они увидели приближающегося из глубины дома старшину Тяглого. Его появление перечеркнуло их последние колебания.

Тяглый переступил через порожек, но дальше не пошел. Прислонился левым плечом к белому кухонному шкафу со множеством дверок и полочек, и оттуда посматривал то на немцев, то на лейтенанта. При перестрелке шкаф как укрытие не годился, но психологически он прикрывал.

Тяглый был в трех шагах от автоматов; однако немцы еще ближе. Поэтому он не спешил подходить к подоконнику — опасался спровоцировать рукопашную. Лейтенант чуть кивнул: все правильно.

— Хлопин остался на крыльце… на всякий случай, — услышал лейтенант за спиной спокойный голос Игоря Стахова.

— Хорошо…

Пока что складывалось неплохо. Одно не нравилось Пименову: немцы начали нервничать. За какие-то секунды они уже успели смириться с пленом, и если б сейчас раздались команда: «Руки вверх! Повернуться лицом к стене! Не оборачиваться! Не шевелиться!..» — короче говоря, весь набор, который в подобных случаях употребляют обе воюющие стороны, то бы они приняли как должное и вели бы себя послушно и спокойно. Но секунды проползали одна за другой, и никто не приказывал поднимать руки, никто не брал их в плен… Значит… Значит этим русским не нужны пленные?.. И их просто перебьют?..

Пименов понимал, что происходит, и притом все время помнил: у каждого из немцев есть при себе пистолет. Если сейчас кто-нибудь из них не выдержит…

Надо было что-то сказать им или сделать что-то такое, чтобы немцы успокоились. Чтобы они сели. Чтобы не чувствовали себя на мушке — однако и не забывали, кто здесь хозяин положения. И Пименов лихорадочно искал эти слова, хотя знал заранее, что их не существует. Потому что прояснять ситуацию он не хотел, иначе вся эта игра ни к чему, а сами по себе немцы не успокоятся.

Напряжение стремительно нарастало.

Тот немец, что прежде сидел спиной к Пименову, нащупал позади себя стол и двинулся вправо, не отводя своих глаз от глаз Пименова; вот он нащупал угол стола, отступил за него, пятится… прямо к окну пятится… все вдоль стола, и руки со стола не снимает, чтобы не спровоцировать русских неловким движением… но пятится прямо к окну!..

Вот и оба других зашевелились, отступили за стол и встали рядом со своим офицером…

Теперь только один не определился. Решится или нет?..

И вдруг сзади в прихожей, Пименов услышал тяжелый топот. Сбив грязь с сапог и отфыркиваясь после дождя, человек решительным шагом прошел в кухню. Это был Витя Панасенков. ППС у него был, конечно, задвинут за спину, а руки он держал на ширинке, которую еще не успел застегнуть…

Увидев перед собою чужие лица и сообразив, что это немцы, Панасенков замер… съежился… внезапно резко метнулся вправо, влево, заскочил в коридор, опять ворвался в кухню, на этот раз уже с ППСом наизготовку…

Пименов ухватил его автомат за ствол и на всякий случай пригнул к полу:

— Отставить!

Уже только потом ему пришло в голову, что у немцев было несколько мгновений, когда русские не следили за ними: были отвлечены маневром Панасенкова. Он так и не понял: они сознательно не воспользовались этим шансом или просто прозевали его.

Немецкий офицер перевел взгляд с Панасенкова на Пименова и понимающе ему улыбнулся.

И Пименов понял, что взрыва не будет. Худшее позади.

Он подошел к столу и жестом предложил немцам сесть.

— Битте.

3

Все-таки надо вернуться немного назад и хотя бы в нескольких словах обрисовать предысторию. Иначе, если не сделать этого специально, придется ежеминутно оглядываться; а ничто так не убивает интереса к рассказу, как бесконечные пояснения и уходы в прошлое.

К сожалению, здесь законы искусства и правды жизни расходятся. Потому что на войне человек живет прошлым; там его думы, там его корни, и даже на будущее он смотрит через призму прошлого. Кстати, о будущем все-таки старались не говорить. Война ведь. Дурной знак.

Накануне — это было 18 сентября — под вечер дивизия вышла к Гауе.

Истекали третьи сутки, как противник исчез.

Такой прыти от немцев не ждали. И такой ловкости тоже. Уж как радовались, когда в ночь на шестнадцатое сбили их с последнего рубежа!.. Соседи давно ушли вперед, ругались по рации чуть ли не открытым текстом: так, мол, растак, и без того людей не хватает, а тут еще по вашей милости приходится держать на флангах чуть ли не каждого третьего… Что поделаешь — Земгалия! То на сотню километров не сыщешь пригодного для обороны рубежа, а то вдруг встретится такое место, что хоть целой армией прогрызайся — все зря, не война, а чистое кровопускание.

Но не долго радовался комдив генерал Суржанов. Когда наутро он затребовал данные о количестве пленных и трофеях и увидел эти жалкие цифры, он понял, что произошло. Однако сразу не поверил. Не хотелось верить, что не побили противника, а он сам ушел. Дивизия бросилась по следу — и «провалилась». Немцев не было нигде.

Плохо, когда враг упирается отчаянно; но куда хуже, если не знаешь, где он, откуда ждать удара.

За обедом маститый, огромный генерал Суржанов был мрачен. Он похвалил все блюда: и заливное, и щи, и любимые биточки с глазуньей, — но каждое только попробовал — и тут же отставлял. Под конец он не выдержал:

— А, черт! В глотку ничего не идет. — Он резко вскочил и крупно зашагал к своему «виллису». Уже сидя в машине, сказал адъютанту: — Разыщи Кулемина… Что-то мне сдается, он с новым начштаба все никак общего языка не найдет.

Капитан Кулемин был командиром разведроты, в просторечьи — «дивизионки». Дело свое он знал и исполнял

отлично, и полковнику Касаеву, который прибыл в дивизию только в конце июля, незадолго до начала наступления, это было уже известно. Тем не менее репутация не спасла Кулемина от неприятного объяснения с начальником штаба. Обиднее всего было то, что оба понимали бессмысленность этого разговора. Дивизия должна была спешить, и она спешила, и у разведчиков просто не было физической возможности далеко опередить своих, да еще по всем возможным направлениям.

Застать противника на Гауе никто серьезно не рассчитывал. Хоть и водная преграда, но удержаться на ней было бы мудрено: с вражеской стороны берег реки был пологий; пляжи, заливные луга, редкий кустарник, и с южного берега, с обрыва — вес как на ладони видно. И все же где-то теплилась надежда: а вдруг немцы соблазнятся…

Соблазнились!

Но когда надежда оказалась реальностью, когда в шестом часу вечера командир головного батальона прокричал по рации, что на том берегу немец, что авангард встречен заградительным огнем, причем бьют не только минометы, но и тяжелый калибр — стопятидесятимиллиметровки, а уж их-то немец без серьезного прикрытия держать не будет, — генерал Суржанов все же не поверил в возможность такого со стороны противника нелепого поступка. Карта была перед ним, да он и помнил ее во всех деталях; и у него не укладывалось в голове, зачем нужно было так далеко удирать, чтобы остановиться на самом неподходящем месте.

— Тринадцатый! — сказал Суржанов. — Все-таки попытайтесь форсировать. Будьте понастойчивей, понастырней! Через полчаса к вам подойдет теща (так в его дивизии именовали батальон «тридцатьчетверок»). Но вы не ждите её. Попробуйте сами…

Единственным аргументом, колебавшим уверенность генерала, был мост через Гаую. Не ахти какая ценность, обычный деревянный мост, правда достаточно прочный, чтобы выдержать даже тяжелые танки. Немцы его не взорвали. Может быть, оставили как приманку, чтобы русские атаковали именно здесь — где их как раз и ожидают; а может быть, они готовили контрудар… Но все это было уж слишком просто, слишком откровенно. На этой войне так не воевали.

Головной батальон попытался выполнить приказ, был встречен плотным прицельным огнем шестиствольных минометов, а уже на самом берегу крупнокалиберными пулеметами. Они били из кустарника на немецкой стороне, щедро и без опаски: когда еще русские подтянут артиллерию,

чтобы их подавить!.. Светящиеся веера то здесь, то там разворачивались над темной вечерней водой; потери все возрастали. А «геща» застряла, даже моторов пока не было слышно. Комбат рискнул, выдвинул на прямую наводку взвод «сорокапятимиллиметровок» из приданной батареи. Но едва эти пушчонки затявкали, как немцы навалились на них всем скопом: опять ударили шестиствольные минометы, а следом, почти сразу, — тяжелая артиллерия. Одну пушечку все же удалось спасти.

Похоже, немцы упирались всерьез.

Дивизия подтянулась к реке и стала разворачиваться. В лесу зазвякали топоры, зашаркали пилы; через час капитана Кулемина вызвали на КП. Предстояло получить обычное задание: «уточнить передний край обороны противника… наметить… выяснить…» — и т. д. и т. п. В общем, минутное дело; но полковник Касаев решил им воспользоваться, чтобы лишний раз подчеркнуть, кто есть кто. Он сидел в большой палатке совсем один, возле стола, на котором была развернута крупномасштабная карта района, а поверх нее лежали два раскрытых блокнота, паркеровская авторучка и любовно очиненные толстые карандаши «Сакко и Ванцетти» — красные и синие. Карта была немецкая, но наклеенная на марлю. Все уже знали в дивизии, что наклеивать карты было любимым занятием полковника; он специально возил рулон марли и особый клей, от которого карта не желтела и не обесцвечивалась даже через месяц; клей этот, конечно же, он никому не доверял.

Касаев был невысокого роста, очень плотный, но не толстый; вернее сказать — не жирный, что не мешает подчеркнуть, поскольку со стороны он часто казался круглым. На круглой голове носил седой бобрик, но чапаевские усы его были совершенно черными, что вызывало в штабе кривотолки. Некоторые полагали, что Касаев подкрашивает усы. Это можно было бы отчасти проверить, если бы хоть раз удалось увидеть его небритым; но Касаев, что бы ни происходило вокруг, брился два раза в сутки, «как англичанин»; а прямо спросить у него об этом — даже в шутку, даже за рюмкой — никто не решался.

Сейчас Касаев сидел боком к столу, упершись взглядом куда-то в угол, над раскладной походной койкой. Шинель была накинута на плечи и подобрана под локти. Керосиновая лампа с рефлектором висела на столбе за его спиной, так что выражения лица прочесть было нельзя.

Он чуть кивнул, когда капитан доложил о прибытии, но даже не повернулся и сесть не предложил; словно тут же позабыл о существовании Кулемина.

Так прошло минут семь.

Капитан Кулемин понимал смысл этой молчаливой обработки и ничем не выражал нетерпения.

— Ну, как жить будем?.. Как будем воевать, товарищ капитан? — немного повернул голову в сторону собеседника полковник.

Тут бы следовало промолчать, и Кулемин понимал это, но неожиданно для себя сказал:

— Все так же, товарищ полковник.

Ответ был не менее абстрактен, чем вопрос.

Начальник штаба, взглянув на часы, буркнул:

— Надо уточнить передний край противника. Давай, пошевели свою братию. Приказ уже готовится.

4

Разделить роту на несколько групп, наметить каждой из них сектор действия и поставить задачу было для Кулемина делом нескольких минут.

— Возьмешь меня с собой? — шутливо спросил он лейтенанта Пименова. Тот улыбнулся, пожал плечами. — Вот и спасибо.

С Пименовым он шел, конечно же, не случайно. Знакомы они были меньше недели. В прошлую субботу, явившись по вызову к генералу Суржанову и проходя через переднюю комнату, он приметил там незнакомого лейтенанта. Уже одно то, что лейтенант этот сразу и прочно врезался в сознание, было удивительно, поскольку в передней генерала всегда толклось множество всякого военного люда. Несколько раз в день адъютант выпроваживал всех на улицу, но уже через час посетители каким-то непостижимым образом просачивались обратно, и в общем-то, раньше или позже, правдами и неправдами — но к генералу попадали; просто удивительно, каким сложным и густонаселенным становится околоштабной мир, если дивизия задерживается на одном месте дольше, чем на неделю.

Лейтенант этот был явно не из числа просителей. Он и держался-то иначе как-то самостоятельно, уверенно: эдакий утес посреди бурного течения; хотя по званию был самым младшим из присутствующих.

Капитан Кулемин лишь мельком встретился с ним глазами, скользнул взглядом по его фигуре — и это все. Но через несколько минут, разговаривая с Суржаповым, он поймал себя на том, что все время думает об этом парне. Кто он? Как здесь оказался? Почему его не знаю, если наш?..

Лейтенант был невысок: если на метр семьдесят потянет, значит, ему еще повезло, рассуждал Кулемин. И в плечах не ахти что. Но ладный какой! Словно так и родился с парабеллумом на бедре и с финкой па поясе. Кстати, что у него за награды были?.. Дай бог памяти… Кулемин сосредоточился — профессиональная ведь память, все держит! — и вспомнил: ага, «Отечественная война» первой степени… и две «звездочки», Неплохо! Зря, что всего лишь лейтенант. Ну, может, у него так сложилось.

«Так чем же он запал мне в душу?..»

Кулемин еще подумал, и решил: глазами; как смотрел — вот что его выделило; но как держался, независимо, самостоятельно…

Но и этот ответ не вполне удовлетворил Кулемина. Он еще

подумал — и понял наконец: улыбка. Вот в чем соль. Когда они встретились глазами, лейтенант чуть улыбнулся, еле-еле; может, у него только губы дрогнули да в глазах изменилось выражение, но какое богатство было в этой мимолетности! — и доброта, и понимание, и радость от узнавания близкой души, и какая-то ироничность, но тоже дружеская, не оскорбляющая ничуть…

Силы в нем много и души, — подвел итог Кулемин. У него издавна была такая манера: судить о людях с первого взгляда. Ему часто говорили, что это занятие рискованное, но Кулемин в душе был игрок, он был готов испытывать свой фарт снова и снова, и если бы даже неудачи шли косяком, все равно бы они его не остановили. Кстати, в общем-то в людях он разбирался неплохо; или ему просто везло на хороших людей; или же можно и так сказать; его собственная душевность, открытость, искренность и доброта привлекали к нему людей, в том числе и не самых добрых, и даже злых; но и эти ценили его общество.

— Александр Аркадьич, — сказал он Суржанову, когда их деловой разговор подошел к концу, — у меня к вам маленькая просьба.

— Вы не оригинальны, капитан. Целыми днями у меня что-то просят, просят, просят…

— Товарищ генерал! Отдайте мне того лейтенанта, что торчит здесь у вас под дверью.

— А! Уже успели познакомиться?

— Нет. Но это мой человек.

— Не отдам! — вдруг решил Суржанов. — Не отдам, и не просите. Он мне самому нравится. И он мне нужен.

— Как, Александр Аркадьич? Для своей разведки вы жалеете…

Через двадцать минут Кулемин вышел из кабинета Суржанова, исполненный чувства, что день прожит не зря. Он подошел прямо к лейтенанту и легонько хлопнул его по плечу:

— Идем. — И на вопросительный взлет бровей лейтенанта добавил: — Комдив уступил тебя мне.

Последующие дни как-то так сложились, что им не довелось поговорить толком ни разу. А это было необходимо. Конечно, чутье и вера в человека — приятные качества, но если дело происходит в разведке, — тут доверяя, проверяй. Кулемин об этом помнил, только его добрые намерения тормозились целым комплексом объективных причин. Во-первых, уже от генерала Суржанова он получил исчерпывающую характеристику новичку; во-вторых, он видел личное дело Пименова; и в-третьих едва цель была достигнута, все формальности выполнены и лейтенант обосновался в разведроте, в Кулемине на полный голос

заговорила психология собственника. Он испытывал понятную удовлетворенность уже от того только, что «получил», что «имеет»; так у многих людей неосознанное чувство, что в любой момент они могут воспользоваться своею собственностью, как бы заменяет им сам процесс пользования.

Наконец, у Кулемина была еще одна причина, чтобы не очень беспокоиться («не брать в голову», — как говорил в таких случаях старшина роты Жора Пестин) за первые шаги лейтенанта. Он подобрал Пименову отменную группу. Правда, один из группы, Витя Панасенков, не только в бою еще ни разу не был, но и передовую увидел всего три недели назад. Прибыв накануне с пополнением, он приглянулся капитану Кулемину. По щекам Вити Панасенкова было видно, что бриться он стал недавно, может всего и побрился-то раз или два, да и то без надобности. Зато фигура у него была крепкая и складная, сильные руки, грудь широкая, полная легких, и цвет лица исключал на ближайшие десять лет какие-либо внутренние недостатки и тем более болезни. Наконец, значки «Ворошиловский стрелок» и «ГТО» второй ступени говорили сами за себя.

— Спортсмен? — спросил Кулемин, цепко схватив его за мгновенно окаменевшее тренированными мышцами предплечье.

— Ага! — радостно подтвердил Панасенков, который понятия не имел, зачем этот капитан идет вдоль длинной шеренги пополнения, да и не задумывался над этим, так как здесь, «на фронте», все ему было внове, его внимание распылялось, перескакивало с одного предмета па другой. Он только-только и заметил этого щеголеватого капитана и не знал, что был первым, перед кем капитан задержался. Он среагировал на капитана лишь в тот момент, когда услышал короткий, резкий вопрос.

— Во-первых, не «ага», а «так точно»…

— Виноват, товарищ капитан, — молодцевато вытянулся Панасенков. — Так точно.

— Во-вторых, какой вид спорта?

— Легкая атлетика, товарищ капитан.

— Точнее?

— Стометровка, прыжки в высоту и диск.

— Ну и диапазон! Прямо комбайн, а не парень… За сколько сто метров пробегал?

— За одиннадцать и восемь, товарищ капитан.

— Слабо.

— Виноват, товарищ капитан.

Но товарищ капитан уже шел дальше вдоль шеренги, а через несколько минут Панасенкова в числе пяти человек вызвали из строя, и он вдруг узнал с изумлением, гордостью и счастливым

испугом, что он — разведчик.

За три недели его ни разу не брали в поиск, зато со второго дня он регулярно попадал в состав группы обеспечения, которая сопровождала поисковиков почти до самых вражеских окопов. Панасенков уже стал привыкать к нейтралке, к ползанию через минные поля (хотя он и умел обращаться со всеми обычными нашими и вражескими минами, лидерство в группе ему бы все равно не доверили), к неподвижному лежанию возле колючей проволоки, иногда недолгому, а однажды — почти целую ночь. Он старательно изучал приемы рукопашного боя, джиу-джитсу, был внимателен и исполнителен, — в общем, капитан Кулемин на него надеялся и пока не жалел, что взял в свою роту.

Но если Витя Папасенков, при всех своих неоспоримых достоинствах, был в группе Пименова все-таки балластом, трое остальных считались украшением разведроты. Капитан отдал их Пименову что называется от души.

Один старшина Тяглый чего стоил! Курский мужичок, свитый из жил, земляная душа. Он был из тех, кто, если бы набирали только добровольцев, ни за какие коврижки не пошел бы в разведчики; а, оказавшись в разведчиках, никогда не рвался в дело. Но не было задания, которого бы он не выполнил; причем все делалось быстро, обстоятельно и наверняка. Он и храбр-то был вследствие исполнительности. За это, кстати, еще на финской получил свою медаль «За отвагу». Когда батальонный поднял их в атаку и прямо в лицо стал бить не подавленный артиллерией пулемет, он бежал все вперед и вперед, оглядываясь по сторонам и назад (а как же иначе? — ведь было приказано: «вперед»), пока не понял, что пулемет лупит именно по нему. Тогда Тяглый стал хитрить: приседать за пни, перебегать, ползти за стволами почти не выступавших из-под снега поваленных деревьев, и так, пока до пулемета не осталось метров пятнадцати и дела не решил точный бросок противотанковой гранаты. Лишь тогда он заметил, что возле никого нет, оглянулся и увидел: батальон все еще лежит, выжидая, в полуста метрах от исходной позиции, а он, Тяглый, наступает один.

Честно говоря, капитан не примечал за ним особой находчивости и хитроумия, но Тяглый был необыкновенно везуч! И это окупало все.

Затем Игорь Стахов — разведчик божьей милостью. Правда, неисправимый бахвал и показушник, но уж это, видать, в крови у такой породы людей, которые сами, сознательно идут в разведку, поскольку поняли однажды и знают точно только по лезвию бритвы их путь. Их жизненная философия вся укладывается в «орлянке»: орел или решка — при неистребимой вере в свою

звезду. Капитану Кулемину не раз случалось отчитывать Стахова за проделки, но он всегда это делал спокойно, «без сердца», на полутонах: больше журил, чем ругал, независимо от степени провинности. Имея аналитический склад мышления, Кулемин еще в двадцать два года устал «обжигаться» на людях и ошибаться в них. Он заканчивал Ленинградский университет, специализируясь по итальянскому Ренессансу, но занялся психологией, сдал факультатив и постарался прочесть, сколько успел, всю классику и новейшие работы. Он без труда обошел подводные скалы психоаналитики и в частности фрейдизм, единственно, что у него осталось от этого — вера в свою уже упомянутую способность чувствовать, угадывать людей с первого взгляда. Как бы там ни было, имея дело с Игорем Стаховым, он отдавал себе отчет, что перед ним ярко выраженный холерик, личность вспыльчивая, импульсивная — «заводная». Он понимал, что нервная система Стахова все время в работе, все время лихорадочно накапливает энергию, переполняется энергией: естественно, ей нужен выход; а тут уж за Стаховым нет большой вины, что эта энергия не истекает из него плавно, а только взрывами, вспышками. Со Стаховым было не то что трудно, а не просто. Однако капитан Кулемин умел направлять и энергию эту и импульсивность в нужное и полезное для дела русло, и если требовалось снять часового, прикрыть отступление или же, напротив, прорваться через плотный заслон, — стоило поручить Игорю Стахову, и он — непременно с какой-нибудь выдумкой, вычурно, и все же красиво, — управлялся за пятерых.

И наконец, Иван Хлопин, дивизионный «левша», в руках которого, кажется, любая железка начнет стрелять. Этот сибиряк был в любом деле хорош. Добросовестный и дотошный, он в быстрых делах был быстр, в трудных — неутомим. Он умел ждать. Если бы понадобилось, он смог бы ждать бесконечно. Однако больше всего в поиске капитан ценил его за способность успокаивающе, как-то отрезвляюще влиять на окружающих. Этим его свойством Кулемин пользовался часто. В частности, Игоря Стахова он никогда не отпускал на задание, если вместе с ним не мог идти Хлопин. Но уж когда они собирались вместе, любое задание было им по плечу.

Такова была нынче группа лейтенанта Пименова. О каждом Кулемин знал если не все, то по крайней мере достаточно, чтобы понимать, кто на что способен и от кого что можно ждать и получить. Теперь он хотел приглядеться к лейтенанту.

5

Когда они выступили, время было еще раннее, девятый час, но поляны уже тонули в глубоких сумерках; и даже низкий туман, стынущий над ямами и выползающий из лощин, почти не подсвечивал прогалин. А под деревьями царил уже вовсе непроглядный мрак.

«Осень, — думал Кулемин, — уже осень, а я и не заметил. Ни черта не замечаешь на этой проклятой войне, все мимо — и день, и ночь, — все мимо, а если и удается что-нибудь разглядеть осеннее, рыжее, так только на карте или через призмы стереотрубы, да и то вблизи это оказывается глиной на бруствере немецкого окопа».

— Хоч бы молодык вырезался, — с досадой пробурчал где-то за спиной Тяглый. — А то ж ни сапог, ни ног не напасешься, едрена корень.

— Чо накликаешь, чо накликаешь, Федорыч? — Это Хлопин, пожалуй. — По темну ходить — самая для нас атмосфера. А то вот растащит обратно…

— А я б сейчас, ребята, в ресторане посидел. В настоящем. Чтоб с пальмами, чтобы люстра была хрустальная и стены маслом под мрамор покрашены. И чтоб оркестр — как же без оркестра? — рояль, во-первых, ударник, саксофон, конечно же, с сурдиной, и всякое там бесплатное приложение, — Стахов чуть слышно пропел: — «Мандолина, гитара и бас…» Ах!.. Представляю: сидишь не очень близко к эстраде, но и не очень далеко, эдак, через столик, а еще лучше через пару столиков, чтобы, знаете, уши не закладало… на столике, натурально, графинчик стоит и всякие к нему фрикасье и монпасье… смокчу, значит, из фужера этот благороднейший напиток, и вдруг, гля, — боже ж мой, ребята! — на эстраду Русланова собственной персоной — пжалте, мадам…

— Разговорчики.

Это уже лейтенант Пименов.

Не властно, без малейшего оттенка приказа. Но какая-то сила, а скорее-правота в его голосе напоминает разведчикам, что они разведчики, что это обязывает вести себя соответственно, тем более, что идут они на задание (пусть на простейшее, пусть не придется переходить, линии фронта — все же это боевое задание) и между ними есть посторонний. «А ведь верно! — вдруг подумал Кулемин, — вчера еще я для них был свой, но вот между нами встал, этот лейтенант, ничего вроде не изменилось, я все тот же ротный, а они — мои разведчики; и все-таки мое место уже занял

он, Пименов, а я от них отдалился на целую инстанцию, на целую ступень. Теперь он для них свой, а я… Я уже начальство…»

Они все еще шли по лесной дороге, той самой, по которой сегодня, свернув с шоссе, целый день протискивалась их дивизия. Где-то впереди был мост, и, вспоминая о нем, капитан Кулемин с досадой думал, что утром полковник Касаев непременно поинтересуется, как это объяснить, что мост, такой важный стратегический объект, цел до сих пор. «Не кажется ли вам, капитан, — скажет полковник, — что у противника на этот счет должны быть соображения?» — Почему «кажется»? — отвечу я. — Я в этом даже уверен. — «Ага! — скажет полковник. Ну! Так вот. И я тоже хочу знать, что противник себе думает. Однако не предполагательно, а точно. Хвакты! Хвакты мне подавай…»

«Ну ничего, — утешал себя Кулемин, — до утра мост наверняка не доживет. А если доживет… неужели мои ребята его не захватят?!»

Он подумал, что, может быть, прямо сейчас, вот этой группе и поручить захват моста. В темноте не бог весть как сложно… Но тут же решил: не стоит. Во-первых, следом подходят понтонные части; для них наладить переправу пустяк дело. Во-вторых, и немцы-то не идиоты. Уж если они для чего-то оставили мост, к нему просто так не подберешься, все подходы учтены и пристреляны, да и сам он пристрелян наверняка, так что даже если разминируешь его, то достаточно одного залпа тяжелых мортир, что стоят у немцев неподалеку, и там даже щепок не соберешь.

Между прочим, их что-то не слышно последние полчаса.

Кулемин постарался припомнить, так ли это… Точно. С тех пор, как он ушел с КП, из палатки Касаева, немецкая артиллерия молчит.

Правда, шестиствольные минометы продолжали вести огонь. Судя по всему, две батареи. Одна обстреливала берег и кромку леса, вторая — дорогу. Били вслепую, но исключительно точно. Загодя готовились.

Залпы были редки. Пока разведчики шли дорогой, немцы произвели четыре налета, каждый раз на новый участок. Первые залпы отступали от них к реке; последний прогремел неожиданно далеко в тылу: начинался новый прочес дороги.

Минометы били не зря. Дорога работала с полной нагрузкой: дивизия не собиралась здесь застаиваться, подтягивалась вплотную к реке. В одном месте разведчики увидели в свете фонариков сразу несколько раненых; они лежали рядочком, кто стонал, кто плакал, кто просил пить; тут же была медсестра, она стояла па подножке «студебеккера» и хриплым низким голосом

честила водителя, который упирался, не хотел подобрать раненых. Характерная вонь, какая всегда остается после разрыва мины, висела здесь плотно; сырой воздух впитая ее в себя и удерживал цепко, перебивая запахи грибницы, муравьев и хвои. В другом месте чадно и жарко горели два «студебеккера» и одна полуторка. Их отволокли в сторону, сбросили с обочины, и уже воронки почти заровняли. Время не ждало.

Наконец разведчиков остановил импровизированный шлагбаум из небольшой елки, поваленной поперек дороги. Здесь был пост. Его начальник, старшяй сержант в каске, объяснил Пименову, что дальше дорога делает последний изгиб и выходит на прямую к мосту.

— Тут и полета метров не будет, товарищ лейтенант, до открытого-то места. Сейчас он ракетку запалит, сами увидите по верховкам: елка редеть почнет. Здесь вам идти нету резона: он же на дурняк лупит из пулемета. Неровен час зашибет…

Остальную часть пути прошли лесом.

Если бы не вражеские ракеты, которые теперь загорались совсем близко, а иногда даже дотягивали до этой стороны и повисали прямо над головой, пробираться лесом было бы куда сложнее. Река открылась вдруг. Просто в какой-то момент. зажглась очередная ракета, и разведчики увидели, что идут вдоль высокого обрыва, а прямо под ним, почти без прибрежья, лежит широкая лента черной воды. Из-за ночи и неровного фосфорического света ракет река казалась шире, чем была на самом деле.

Разведчики прошли немного выше по течению, чтобы обосноваться примерно посреди своего сектора, пока не наткнулись на удобную воронку у самого края обрыва. Это и предрешило их выбор. Хлопин только чуть выровнял ее, да выкопал в задней стенке что-то вроде двух сидений, выстелив их кусками дерна.

— Спасибо, Иван, поблагодарил капитан Кулемнн. — То-то я смотрю, ничего ты абы как не сделаешь. Спасибо…

Они подошли вовремя. Даже по тому, как артиллерия их дивизии вела беспокоящий огонь, стараясь разбередить противника, втянуть его в перестрелку (чтобы разведчики по вспышкам засекли огневые точки врага), было ясно: ребята изверились в успехе и сейчас только отрабатывают урок. Еще немного, еще чуть-чуть — и все бы прекратилось. Но, может быть, это только казалось разведчикам, или же так оно и было, но никто, кроме них, этого пока не уловил; а им подсказало опасение, что нашим такое безответное швыряние снарядов в никуда может быстро надоесть. Только немцы этого не

почувствовали, не уловили критический оттенок этих последних минут и ответили. Сразу в несколько батарей.

— Неплохой букет…

За весь час лейтенант, кажется, не обратился к Кулемину ни разу; и даже эта реплика была по сути без адреса, не требовала ответа. Почему он молчит? Почему не скажет ничего? Не спросит? — из вежливости хотя бы… Это было непривычно Кулемину и, откровенно говоря, несколько отвращало его от лейтенанта, хотя Кулемин понимал всю эмоциональность и несправедливость такого поворота в своем отношении к Пименову.

Лейтенант Пименов между тем был весь погружен в дело.

Пристроив на коленях планшет, он наносил на стрелковую карточку огневые точки врага. Карточка была снабжена по краям фосфорными полосками. Они не давали желаемого результата, поскольку подсвечивали не всю карточку; по поводу этих полосок было принято острить; считалось, что на большее, чем мишень для шуток, они не пригодны. И вдруг Кулемин увидел, что лейтенант, оказывается, решил эту задачу удивительно просто: он согнул карточку таким образом, что верхний ее край нависал над остальной плоскостью; и достаточно было надвигать или отодвигать этот нависающий край — и ясно освещался любой участок карточки. Кажется, мелочь, но Кулемин оценил ее по достоинству. Ай да лейтенант! башковитый парень, — с удовольствием подумал он, хотя из личного дела Пименова знал это с первого же дня. Но одно дело — на бумажке прочесть, бумажка, известно, все вытерпит, что ни напиши, и совсем другое — убедиться самому.

Остается добавить, что такая «мелочь» говорила Кулемину значительно больше, чем если бы, например, лейтенант Пименов у него на глазах совершил геройский поступок. Чтобы совершить большое дело, полагал Кулемин, человек собирается весь. Все силы духовные и физические, ум, опыт, знания — все концентрируется в одну точку, и человек поступает так, как надо поступить в данных обстоятельствах; или, по крайней мере, как по его мнению надо поступить. А в мелочах он ведет себя импульсивно, непосредственно. В мелочах он не следит за собою. В них он весь, как на ладони. По ним-то и судить следует, что он за человек.

Вражеские батареи между тем, словно спохватившись, стали умолкать одна за другой. Наконец замолчала последняя. Наша артиллерия больше не настаивала, тоже перестала стрелять. И наступила тишина. Не просто ночная или, скажем, лесная тишина. Тишина переднего края.

— Ты погляди, лейтенант, — удивленно сказал Кулемии. — Тучи-то растащило. Звезды.

— Вижу. И полчаса уже. — Пименов помолчал, затем добавил с явно уловимой в голосе усмешкой: — Я вначале вон ту, голубую, что прямо перед нами, в воде заметил. Думал, немцы что-нибудь химичат. А потом вижу рядом еще. Пригляделся: отражение. — Он еще помолчал. — Очень гладкая вода.

— Это Вега.

— Знакомое название. В детстве когда-то слышал. Давно.

— А вон та яркая, видишь, справа, над самым лесом…

— Из себя такая оранжевая?

— Вот-вот. Это Арктур.

— А что она обозначает?

— Да в общем ничего, — неожиданно для себя самого смешался Кулемин. Красивая звезда… Есть в ней что-то такое…

Он поймал себя на том, что чуть было не стал распространяться об эстетическом волнении, какое всегда вызывала в нем звездная графика, о том философском умонастроении, о той приятной грусти, которые всегда дарило ему звездное небо. Названия созвездий звучали для него музыкой и вызывали длинную цепь приятных ассоциаций. Наконец, — и это было самым существенным — некоторые звезды были для него как бы вешками, напоминаниями о реальных, приключившихся с ним событиях. Но об этом знал только он один. Только ему они говорили об этом. Все было настолько личным: звезды в его окне — звезда в окне его любимой — звезда, на которую впервые обратил его внимание отец, ткнул пальцем и спросил: а вот эту звезду ты знаешь, мой мальчик? Это Мира, что в переводе с латыни значит «дивная»; она то вспыхивает ярко, то совсем угасает; думаешь — нет ее, а она уже вновь горит; она дышит, она живет, совсем как человек; ведь и нам иногда не мешает перевести дух, не так ли, мой мальчик? чтобы собраться с силами — и снова за дело…

— Разве это возможно рассказать? Разве это возможно понять — если не имеешь подобного же опыта?.. Жизнь, если чуть отстраниться, иногда кажется смешной и глупой. От первого, поразившего мальчишечье воображение красивого слова «Мира», — к изучению латыни, а затем — итальянского, наконец — Ренессанса… А если бы не было той ночи и вопроса: а вот эту звезду ты знаешь, мой мальчик? как бы все оно повернулось?..

— А вообще-то какие-нибудь звезды ты знаешь, лейтенант?

— Ну конечно, — невозмутимо ответил Пименов. — Большую Медведицу знаю. И Полярную. Мне одной Полярной за глаза хватает. На все случаи жизни.

— Понимаю…

Этот практический подход, этот невольный меркантилизм… Имел ли право Кулемин даже молча, не высказывая вслух, винить Пименова? Нет, конечно. Что он видел, этот лейтенант? — бон, окопы, минные поля, искаженные предсмертным изумлением лица часовых, пену в углах рта у пленных… А красота… Красоте надо учить. Может быть обязательно с детства… А если это действительно так? — вдруг подумал Кулемин. — Боже мой! ведь если это действительно так, сколько людей никогда не узнают, что это такое…

…Когда растаяла, сошла на нет его задумчивость, его вселенская меланхолия, — этого Кулемин и сам не заметил. Потому что, хотя мысли его были заняты вроде бы посторонними предметами, но уши слушали, а глаза смотрели; он непроизвольно делал свое дело, и в какой-то момент, очень плавно вся его нервная энергия сосредоточилась на слухе. Он ловил, ловил что-то неясное, скорее угадываемое… Наконец убедился: где-то далеко за рекой возник и неумолимо надвигался гул моторов. Положил руку на плечо Пименова, и тот, чуть слышно с пониманием отозвался:

— Да.

Гул приближался неторопливо. Он становился все отчетливей, и хотя лес его глушил, вскоре стало возможно различать даже отдельные моторы. Темнота помогала слушать, но путала ориентировку. Сколько сейчас до головного: километр? или, может быть, полтора? может быть, надо что есть духу бежать к ближайшему НП и поднимать тревогу?..

Но нет. Гул стал дробиться еще четче, словно оркестр распадался на отдельные неслаженные инструментальные партий. Расползаются в стороны.

— Танки?

— Тягачи, — сказал Пименов. — Налегке идут.

— Пожалуй…

Подтверждения не пришлось дожидаться долго; минут через двадцать к ровному рокоту моторов начали примешиваться куда более натужные звуки; теперь моторы выли и стонали, и чем дальше, тем больше становилось таких.

— Уходит немец, — с уверенностью заключил Пименов то, о чем они оба догадались уже давненько. — Технику оттягивает.

Кулемин хотел было попросить, чтобы лейтенант послал с донесением одного из разведчиков, но передумал.

— Ты еще понаблюдай за ними, Паша…

Он совершенно бессознательно, непроизвольно назвал лейтенанта по имени. Это было впервые, и Кулемин даже сам

опешил, потом решил: ничего. Они оба поняли, что это было знаком признания.

— Пойду доложу сам.

Как тень выскользнул из окопа и, неслышно ступая (что было непросто в такой тьме и вовсе не обязательно сейчас, но доставляло ему удовольствие самим фактом: он любил и умел ходить, как настоящий разведчик), пошел на командный пункт.

6

Полковник Касаев еще и не собирался ложиться, работал. Он внимательно слушал Кулемина, ни разу не перебил, правда, и не взглянул на капитана ни разу, смотрел в угол палатки, время от времени проводя сложенной лодочкой правой ладошкой то по своему седому бобрику, то по усам. Он дал выговориться Кулемину полностью, и даже загнал в угол своим молчанием: Кулемин высказал все возможные соображения об отходе противника, почувствовал, что не убедил, начал опять — более пространно, вдаваясь бог весть в какие детали и соображения… Самому стало скучно. Замолчал.

Полковник подождал, всем своим видом показывая, что ждет продолжения.

— Все? — спросил он наконец.

— Все, — со злостью ответил Кулемин, понимая, что надо было доложиться в несколько слов: это было бы и солиднее, и независимо как-то. А то, предчувствуя неизбежный финал, на минуту смалодушничал, а теперь самому на себя смотреть неловко.

— Так от, капитан, байки будешь после войны детям рассказывать. Ты мне хвакты давай! Ясно?

— Так точно.

— Можешь идти.

И опять отвернулся, нагнулся над картой, давая понять, что и без того потерял из-за ерунды прорву времени.

Кулемин ушел к себе, написал официальный приказ лейтенанту Пименову на взятие «языка», и отослал его со связным. Сам лег вздремнуть, велев разбудить немедленно, как только прибудут сведения от любой из групп.

Сон не шел. Кулемин думал о полковнике, сначала с обидой, которая ослепляла и заслоняла собою все, потом он сказал себе: «Не злись, а постарайся понять этого человека. Ну ладно, у него комплексы. Где-нибудь прежде обжегся на горячем, теперь на холодное дует. К тому же — педант… Или просто у человека судьба не сложилась, и он в обиде на весь белый свет?.. Наконец, у него элементарно недостает культуры… и недостает ума, чтобы или примириться с этим, или постараться наверстать упущенное, что-то выправить… Впрочем, полковник, кажется, из тех людей, что упорствуют на своих недостатках, пытаются выставить их, как достоинства; во всяком случае, ищут этому если не оправдания, так аргументы. Ну конечно же, как я этого сразу не понял! — думал Кулемин. — Полковник из тех неинтеллигентных людей,

которые, по роду своей деятельности постоянно соприкасаясь с людьми интеллигентными, чтобы не чувствовать себя хоть в чем-то ниже их, каждым своим жестом, каждым словом демонстрируют презрение к «этому ненужному и даже вредному балласту», к «этим буржуйским штучкам», к «этому запудриванию мозгов». Физический труд, земля и машина учат проще и верней, истинней, — эта философия не нова. И популярна среди ленивых умом людей. Но ведь еще Маркс об этом говорил, и Ленин… где ж Ленин писал об этом? — попытался вспомнить Кулемин, и вспомнил почти сразу. Ну конечно же, в «Что делать?» Ильич писал, что идеи сами не приходят к человеку, что физический труд воспитывает в человеке не философа, а раба с психологией мещанина. Не буквально так, но очень близкими к этим словами. Жаль! — был бы я дома сейчас, встал бы от стола, подошел к стеллажу, выбрал бы нужный том, сейчас уже и не помню, какой, — то ли второй, то ли третий, — и через минуту нашел бы это место…

Ему стало так радостно от неожиданно нахлынувшей из прошлого уверенности в своих интеллектуальных силах, в своих знаниях, что он забыл неприятный разговор, и вообще о полковнике перестал помнить. Впервые за всю эту долгую и тяжелую войну он подумал о своем будущем — и вдруг понял, что к Ренессансу, пожалуй, больше не возвратится. К чему он придет, чем займется — этого Кулемин пока не знал, да и рано было решать; даже загадывать рано. Но с Ренессансом покончено, сказал он себе, прислушался к себе — и не услышал в душе не только отзвука, даже боли не услышал. Значит, давно уже отмерла пуповина, а я лишь сегодня осознал. Но это жило во мне давно, думал он, и когда я на огорчение своим старикам вдруг прервал научную карьеру н пошел в военное училище, потому что война была уже не на горизонте, она стояла на пороге, и я не желал быть наблюдателем и сознательно в этот час испытаний слил свою судьбу с судьбой своего народа, — вот почему этот разрыв с кабинетно-музейной учёностью (конечно же, я был уверен тогда, что это временная мера) достался мне так легко. Ну что ж, я всегда старался понять себя и быть верным себе, не мешать себе, и вот еще раз жизнь подтвердила мою правоту…

И Кулемин, продолжая рассуждать о том же, но уже без новых мыслей, лишь самодовольно поворачивая так и эдак эту одну, привыкая к ней и все больше и больше в ней утверждаясь, — действительно задремал, кстати, так больше и не вспомнив о полковнике.

А с ним было просто.

Лихой комбат в гражданскую войну, потом — начальник

штаба полка, Касаев имел за плечами четыре класса приходской школы — и только. Правда, дважды учился на курсах переподготовки, в тридцатых годах хотел даже в военную академию попасть, без малого год что ни вечер корпел над учебниками — не разгибался, но вступительные экзамены провалил, и это его так травмировало, что повторять попытки он не стал. Очевидно, эти годы — мечта, непривычный труд над книгами, и в конце крах, — дались ему нелегко; сил примириться с судьбою у него не нашлось. Будущее было отравлено. Он затаил обиду на академию, и ко всем, кто ее окончил (а Кулемин и там успел потереться, правда, на большее война не отпустила сроков), относился внешне подчеркнуто иронически и пренебрежительно. Он активно не противодействовал новым веяниям в армии, но в душе был предан старым положениям воинской науки, типа: «пуля-дура, штык-молодец». И никто не знал, что лихость его была показной, что это был уже конечный результат медлительной, тугодумной работы по подготовке каждой операции; это были только плоды усидчивости, которой он пытался восполнить отсутствие знаний и воинского таланта. Он гонял разведку без конца. «Вот когда я буду знать усе хвакты, даже такой: что пьет по утрам командир вражеской части — водку или рассол (это была чужая шутка; так говорил его комполка еще в далеком девятнадцатом; образ поразил воображение Касаева на всю жизнь — и был немедленно взят на вооружение, тоже на всю жизнь), от тогда я скажу, что я почти довольный».

Опытный археолог по одной кости может восстановить облик вымершего доисторического животного. Касаев даже идеи такой бы не принял; в его глазах это была бы чистой воды авантюра. Другое дело, если б ему выложили все кости, и схему их соединения, и кожу, всю до последней чешуйки…

До нынешнего чина он выслужился тяжело, взял характером и годами. И когда встречал судьбу легкую, человека талантливого, — это вызывало в нем предубеждение, поскольку себя он считал обойденным милостями судьбы; и потому он хотел, чтоб и остальные попробовали «почем фунт лиха»; хотя, если уж быть до конца честным, служилось Касаеву легко и ровно; только что не выделялся он ничем — и его не выделяли. Вот и весь секрет.

В восьмом часу появилась группа лейтенанта Пименова. С «языком». Это был длиннорукий и длинноногий ефрейтор, видать сразу, что не из слабых, но сейчас он напоминал марионетку с чрезмерно ослабленными винтами: руки болтались в суставах, ноги еле держали, подламывались, и немец поминутно

вздрагивал, словно вспоминал, как это — занимать вертикальное положение. Его распухшее лицо было жалко.

— Что это с ним? — спросил Кулемин, не очень, впрочем, удивляясь. Он уже навидался всяких пленных. — Нервы, — просто сказал Пименов.

Кулемин тут же начал допрос, и через несколько минут убедился, что от «языка» толку не будет. Еще вчера этот ефрейтор мог бы многое рассказать. Но его забыли — и ушли куда-то. Он понятия не имел — куда. Опять начал плакать.

Кулемин отправил немца в тыл и сидел мрачный.

— Плохо наше дело, — сказал он, наконец.

— Опять надо идти?

Похоже, Пименов обрадовался этому. Так у него сразу ожило лицо. Он даже встал.

— Но ты же не отдохнул ничуть. И не позавтракал еще.

— Это нам пять минут, товарищ, капитан. Пока вы приказ составите…

— Спасибо, Паша. Лучших лошадей бери. Ведь не могут же они далеко уйти! Некуда! — взорвался вдруг Кулемин и ткнул пальцем в карту. — Рига же — вот она совсем уж близко!..

Кулемин опять повеселел, стал энергичен и уже без неприятной тяжести в душе думал об очередной возможной встрече с Касаевым. Дело делалось, причем делалось быстро; если лейтенант споро обернется, глядишь и вовсе удастся обойтись без неприятных разговоров.

7

Когда Тяглый увидел сквозь ливневую завесу призрачные очертания мызы, умом он понял, что это дом; но сердце дрогнуло, узнав в замершем на несколько мгновений, повисшем в воздухе белом конусе, сахарную голову из детства. Федор был сиротой. Но дядька, который принял его к себе (а ведь имел уже восьмеро своих таких же ртов!), был Федору не меньше отца родного. Так что Федор и не считал себя сиротой. Что запало из детства на всю жизнь — это чай. Чай пили по воскресеньям и праздничным дням. Дядька вынимал из сундука сахарную голову белый конус, до половины обернутый синей бумагой, — брал тяжелый нож н отбивал верхушку. Затем черенком колол его, держа в левой руке; удары были уверенными и точными, кусок все делился и делился пополам, и все — ровно, и когда оставались маленькие кусочки, всегда одинаковые, их раскладывали на столе: по два перед каждым едоком. «Когда ты помрешь, дядько, — говорил Федя, — то я буду колоть сахар. Научусь!..»

У него была тайная мечта: найти сахарную голову величиной с гору. Белоснежно сверкающая, она даже снилась Феде… Но когда подрос, ее место заступила другая мечта: заработать денег побольше — и купить коня, большого и крепкого, как на ярмарке… Потом и эта потускнела, и он стал мечтать о новой пиле (у старой полотно повело и недоставало многих зубьев), о сапогах (подступала осень). Мечта дробилась и распадалась, как тот кусок сахарной головы в дядиной ладони… Да и смысл самого слова стал для него иным, и Федор об уже решенном деле говорил так: «Мечтаем на той неделе с дядькой тын поладить…»

Но сейчас эта сахарная голова не вызвала радости, а напротив, какое-то стеснение сковало его. Он подступал к мызе тяжелым неподатливым шагом, и будь его воля — может быть, свернул бы и прошел мимо.

Правда, очутившись в прихожей. Тяглый почувствовал как бы облегчение. Хотя на то и не было причин, словно камень свалился с его души. И эта неожиданная легкость так его обрадовала, что он, повинуясь знаку лейтенанта Пименова, буквально рванулся в левую дверь и сделал по инерции три лишних шага. Поняв это, он вдруг резко присел, одновременно поворачиваясь и наставляя автомат…

За спиной было пусто.

Старшина перевел дух и неторопливо вышел на середину.

Большая комната. Очень большая. Два окна давали сейчас немного света, ливень закрывал их плотнее, чем трехслойная

марля. Посреди комнаты стоял громоздкий обеденный стол, хорошая вещь из наборного дуба, раздвижной к тому же. Эка будет картина знатная, если его развернуть, ведь полета народу усядутся! — с почтительным изумлением прикинул Тяглый.

В углу наискосок стоял громоздкий ткацкий станок, тоже нужная в хозяйстве вещь. У стены справа — громоздкий буфет, трехрядный, тоже из дуба, но он был покрыт таким темным лаком, что под ним и не разберешь, хорош ли дуб. Зато ручки на дверцах были вне подозрений: медные головы львоз, и в носу у каждого — кольцо. Тяглый потрогал дверцы буфета, хотя сразу не сомневался, что они заперты. Так и оказалось. Все равно там пусто, — сказал себе Тяглый. — Еда небось в погребе да на чердаке, а посуду во дворе закопали. А кому она нужна, их посуда, прости господи!..

По бокам буфета висели две большие картины, очень красивые. Одна — вроде бы на клеенке — изображала лебедей на озере.

Вторая картина тоже хороша, — на ней два оленя травку щиплют, тут же ручеек и деревья по сторонам…

Под картинами стулья рядочком, по четыре под каждой. Пол вощеный, и хоть света мало…

Старшина присел, включил фонарик. Так и есть — след. По этому полу хоть босиком иди — не убережешься. А тут отпечатано пылью четко, и форма, и подковки — знакомая картина: немец прошел.

Следы вели к двери возле ткацкого станка.

Старшина подбежал к двери, выглянул. Никого. Коридор. Следы пошли направо. И вернулись. Вот в эту дверь напротив.

Старшина изготовился… резко и бесшумно распахнул дверь… Пусто, Фикус под потолок, граммофонная труба и столик с вышитой скатертью. Другая дверь из этой комнаты — направо — распахнута, и за нею слышно безмолвное движение.

Выключив фонарик, чтобы ярким светом не привлекать к себе внимания, старшина двинулся по дуге вдоль противоположной от двери стены; так он был все время в тени, зато кухня проходила перед ним метр за метром.

Вот немцы с перекошенными от испуга и растерянности лицами. Вот лейтенант… Ага, фрицы чего-то надумали…

Уже не таясь, Тяглый вроде бы неторопливо прошел через комнату, переступил порог и здесь стал, прислонясь плечом к белому кухонному шкафу. До окна, на котором лежали автоматы немцев, оставались добрые три метра.

Он совсем не понимал, что задумал лейтенант, но по тому, с какой уверенностью и превосходством Пименов держался, решил:

а ведь он знает, чего хочет; и видно, что своего добьется. Ай да лейтенант!

Потом, словно все время был тут, объявился Игорь Стахов.

Потом замельтешил, засуетился Панасенков. И это-разведчик? Ой стыдобушка, едрена корень!

Потом лейтенант сказал «битте» и немцы сели, а один вдруг вскочил и стал пить из фаянсовой кружки большими глотками, и по тому, как он пил и как у него текло из уголков рта и капало с подбородка, было ясно, что это шнапс, так что, когда он допил и вызывающе стукнул пустой кружкой по столу, Тяглый непроизвольно вытер свой рот тыльной стороной ладони.

Почему все-таки «битте», а не «хенде хох», старшина так и не понял, как не понял и тонкости следующего приказа, который касался лично его: забрать патроны из рожков немецких автоматов. Почему не сами автоматы?..

Он осторожно передвинулся к окну и начал с гранат. По привычке пересчитал их. Семь штук пасхальных яичек, окрашенных в голубой цвет, но только наполовину почему-то. Небрежно смахнул их в сумку от противогаза, давным-давно освобожденную от своего законного содержимого и использовавшуюся для более нужных, по мнению старшины, вещей. К ручным гранатам он относился пренебрежительно, предпочитая им во всех случаях противотанковую. «Дать, шоб усе с дерьмом смешалось!» На втором месте у него была финка. Она и хлеб-сало резать, и «струмент» — чего починить; она и оружие, которое тоже наверняка…

Так же по привычке пересчитав автоматы, Тяглый начал потрошить рожки, ссыпая патроны все в ту же объемистую сумку, однако остановился — что-то встревожило его. Он не мог сразу сообразить, в чем дело, но было какое-то несоответствие, заставившее его еще раз пересчитать оружие.

— Товарищ лейтенант, — сказал он, повернувшись к Пименову. — Их пять!..

8

Он все еще не отпускал кружку, хотя с того момента, как он поставил ее на стол, прошло не менее полминуты. Секунды бешено стучались в виски, но не могли пробиться в сознание, и там, внутри, время было неподвижным. Собственно, его не было вообще. Оно перестало существовать. Вот так теперь все и останется русский лейтенант будет стоять, положив руку на автомат, висящий у него на шее, а он, Отто Креме будет держать кружку. И это — навсегда. Неподвижность. То, что из-за спины лейтенанта проскользнули в комнату еще две фигуры, было несущественно. Несущественно, потому что и эти двое русских, проскользнув, замерли без движения. Все происходило так, словно в комнате царила температура, близкая к абсолютному нулю, и что бы ни проникало сюда из того, внешнего мира, бегающего, порхающего, шевелящегося каждым крохотным листочком, — все застывало мгновенно в ледяной неподвижности. Как будто все заливалось жидким стеклом и отвердевало. Отто явственно слышал, как льется это стекло. И когда за спиной русского лейтенанта появилось лицо еще одного солдата, Отто просто механически отметил это, уже заранее зная, что и этот, появившись в комнате, тоже остекленеет. Но солдат неожиданно метнулся назад, потом влетел в комнату, взъерошенный и возбужденный, угрожающе вскинул автомат и что-то крикнул. Правда, офицер тут же положил руку на ствол его автомата и произнес какое-то одно слово — спокойно, но властно. Все это произошло в одно мгновение, и третий солдат встал у стены, но уже ощущение неподвижности исчезло, и фигуры вошедших перестали казаться остекленевшими, оставался только звук льющегося стекла.

Почему остался звук? Эта недоуменная мысль мелькнула и тотчас исчезла, но недоумение оставалось. Он опустил глаза и увидел свою руку, державшую кружку. Увидел, что Конрад, Ганс и Вилли уже сидят. И он сам сидит, а в ушах все еще держится эта фраза:

— Зетцен зи зих.

Кто это сказал?! Ах, да… Это сказал русский лейтенант! Да, это он сказал, и тогда сели эти трое, и у него тоже подогнулись колени. О, черт! Назло тебе поднимусь! — он заставил себя встать, поднял кружку и большими глотками выпил все до дна… опять поставил ее на стол и вдруг увидел, как тот русский, который стоял возле белого кухонного шкафа, вдруг шмыгнул носом и тыльной стороной ладони провел по своим губам, отирая

их. И хотя выпил он, Отто Кремер, а губы машинально утер русский, — эта естественность и простота жеста вывели его из оцепенения. И сразу все предметы вокруг прояснились и обрели свой смысл.

Нож!..

На столе лежал нож. Лезвие отливало синевой, кончик его был в сливочном масле, к нему прилипли две хлебные крошки…

Надо взять нож…

Не схватить, а именно взять…

О, черт! Неужели нельзя заставить пальцы не дрожать?!

Так. Нож в руке…

Теперь только не надо смотреть на…

Едва успев подумать об этом, он поднял голосу и тут же встретился взглядом с глазами русского лейтенанта. Отто поспешно вильнул глазами книзу, судорожно сунул нож в пластмассовую масленку, подцепил кусочек масла и старательно начал намазывать ломоть хлеба. Но, не намазав и половины, швырнул нож и хлеб на стол, сел и теперь уже вызывающе уставился на русского. Теперь, когда мир вокруг него стал предметен, он попытался привести в порядок свои мысли. Но пристальный взгляд русского мешал ему. Отто много раз приходилось смотреть в чужие глаза, и он почти безошибочно читал в них то боль и страх, то тупое безразличие, то — и это было чаще всего — откровенную ненависть. В этом взгляде он не мог прочесть ничего. Отто ясно видел в них работу мысли, но суть ее черт, черт, черт! — оставалась для него непостижимой.

— Эссен… Эссен зиер буттерброт.

Опять этот русский! Он снова внес сумятицу в только что начавшие выстраиваться мысли своим старательным произношением, и Отто не сразу сообразил, что ему предлагают съесть бутерброд, а не «ваше масло и хлеб».

Проклятый русский!.. Он не дает сосредоточиться!

Надо взять себя в руки.

Да! Но почему этот лейтенант не скомандовал им «руки вверх!»?..

Ветер толкнул форточку, и шум и плеск падающей потоками воды стал настолько явственен, что Отто чуть не подскочил.

Дождь! Ну конечно же, идет дождь, ливень хлещет, и русский не хочет их конвоировать сквозь эту водяную стену, где шаг-другой в сторону — и тебя уже не отыскать.

Так вот откуда этот звук льющегося стекла! Теперь все стало на свои места… Русский прав. Случись все наоборот, Отто тоже не стал бы вести пленных под проливным дождем.

Он сделал вид, что смысл сказанного русским только сейчас

дошел до него, и выдавил из себя улыбку:

— Данке… Данке шён…

Взял свой бутерброд, взял нож и аккуратно расправил по хлебу масло. В самом деле, почему бы ему и не закусить, если ему это предложили? Он старательно жевал хлеб — медленно-медленно, выгадывая время.

Спокойствие, Отто, спокойствие! Кстати, где Курт? Неужели они убили его? А если нет? А если он вдруг появится сейчас, сориентируется — и нападет на них с тылу… Тогда глы еще поглядим, чья взяла!

Хотя Иван Хлопин и укрылся под навесом крыльца, ветер время от времени срывал летящие с крыши ливневые потоки и швырял их в лицо. Мелкие струйки текли с капюшона масккостюма по лбу, скапливались на бровях и просачивались на ресницы. Смотреть было трудно, и Хлопин все время вытирал пальцами глаза. За три года окопной жизни Иван привык к тому, что война не считается с погодой, и научился приспосабливаться. Вот и сейчас он нашел выход: откинув капюшон, Иван снял пилотку, сложил ее вдвое, приложил ко лбу и, натянув капюшон таким образом, чтобы передний край его проходил как раз по пилотке, затянул шнурок. Теперь капюшон нависал надо лбом этаким козырьком, и вода не могла уже попасть в глаза. Крупные капли расплескивались фонтанчиками на гладком крашеном полу крыльца и стекали к самому краю, образуя лужицу возле нижней планки перил. Хлопин покачал головой и одобрительно чмокнул языком. Крепкий тут, видать, хозяин, ежели и крыльцо прошпаклевано… Вот только нижнюю-то планочку надо бы на колодочки поставить — в ту щелку вода бы стекала…

Иван не думал о том, что происходит там, за дверью, хотя он и успел заметить фрица. Там тихо, значит, порядок, значит, лейтенант Пименов что-то придумал. А как же иначе?

Хлопину нравился этот негромкий лейтенант, хотя всех немного смущало то обстоятельство, что новый командир ко всем обращался на «вы». И дело было вовсе не в том, что лейтенант прибыл в дивизию недавно, — другие на второй день переходили на «ты», а некоторые и вовсе с первого дня обращались к первому попавшемуся: «Эй, ты, ну-ка сбегай к старшине…» Пименов же говорил «вы» уверенно и обыденно, словно бы другого обращения вообще не бывает, говорил так, что не возникало отчуждения, — наоборот, у того, к кому обращался лейтенант, где-то в глубине души возникало неосознанное чувство благодарности к нему и уважительности по отношению к самому себе…

За спиной скрипнула дверь, Хлопин обернулся и увидел старшину. Тяглый объяснил, что где-то здесь болтается еще один

немец.

— Ты его сразу не окликай… Допущай до себя, а там… — старшина изобразил руками. — Если што — крутани его легонько…

Он еще минуту постоял, посмотрел на лужицу у крыльца и негромко бросил:

— Вона, пузырями пошел… Зараз сыпанет напоследок и конец ему…

Шаркнул подошвой по гладкому настилу крыльца — не скользко ли, повернулся и, шагнув в полутьму коридора, закрыл за собой дверь.

Ливень действительно припустил еще сильней, минут пять барабанил по козырьку крыльца, потом сразу сник, пошел реже и реже. Хлопин шагнул к перилам: а ну как не сразу схватишь фрица — сиганет с крыльца, тогда лови его!.. То, что он будет «хватать» фрица, а не фриц его, у Хлопина не вызывало сомнений: первое — тот ничего не знает, второе — без оружия, а что касаемо сноровки, про это Иван даже не думал. Он был высок и тощ — тощ до такой степени, что каждый раз, как только выпадал случай помыться в баньке, Стахов, глядя на раздевающегося Хлопина, непременно проезжался по его адресу:

— Жадера твой батька — из материала на одного двоих сделал, а тебя уж не иначе как из обрезков смастерил… — Он намекал на то обстоятельство, что Иван был третьим ребенком в семье. В другой раз Стахов рассказывал хохочущим разведчикам целую историю о том, как в театр пришли солдаты смотреть спектакль. Посмотрели, мол, они спектакль, дали команду строиться, а старшина рыскает по театру — Хлопин куда-то подевался. Заглянул в костюмерную, а там на распялке обмундирование сушилось — пьеса про войну была. Старшина хвать за рукав:

— Хлопин, «выходи строиться!» команда была!.. — Ну и поволок в строй.

Хлопин обычно не отвечал на его наскоки и только однажды, когда Стахов его допек, огрызнулся. Тот как-то, в очередной раз глядя на Ивановы выпирающие кости, поведал всем, как однажды путешественники, чтобы откупиться от людоедов, отдали им Хлопина. Людоеды сочли это смертельной обидой и вернули его обратно, говоря, что они, хоть и людоеды, но такие мослы у них только собакам отдают…

Иван швырнул в обидчика мыло и сердито пробурчал, что если уж Стахов попадет к людоедам, то его надолго хватит — одним языком можно целый людоедский колхоз накормить…

Однако был он невероятно жилист и обладал такой хваткой,

что, когда кто-либо пытался с ним в шутку бороться, мгновенно оказывался на полу…

Дождь перестал, и только с крыши еще падали тоненькие струйки. Хлопин услышал, как за углом захлопали чьи-то шаги, и тут же из-за стены вывернулся немец, втянувший голову в плечи. Он даже не глянул на Ивана и, взбежав по ступенькам, толкнул дверь в коридор. Иван кинулся было за ним, но увидел, как тот влетел в комнату и остановился — помощь Хлопина была не нужна.

Смутная надежда, возникшая в душе Отто Кремера, умерла, не успев оформиться. Он понял, что появление Курта ничего не изменит в этой ситуации что мог невооруженный Курт? Ничего не мог!..

Кремер с каким-то даже оттенком сострадания следил за Куртом, который еще ничего не понял. А Курт, мельком оглядев присутствующих, посчитав их своими, оживленно потирал руки. Взгляд его был устремлен на стол, где стояла бутылка со шнапсом и аппетитно розовело копченое сало. Курт еще раз потер руки и выжидающе поглядел на Отто, всем своим видом показывая, что неплохо бы пропустить несколько глотков. Но никто даже не шевельнулся, чтобы налить ему, а лейтенант смотрел как-то странно и пристально, так что Курт подумал, что у него не в порядке обмундирование. Он оглядел себя — может быть, забыл застегнуть ширинку? Но ширинка была застегнута, и он обиженно отвернулся. Стараясь, однако, не показать обиду, он преувеличенно весело обратился к одному из вновь прибывших:

— Что, дождь загнал? — и похлопал его по плечу. Это был Панасенков. Он сбросил руку Курта со своего плеча таким движением, как будто сбрасывал змею, и хрипло сказал:

— Ну, ты!..

Услышав русскую речь, Курт обомлел. Еще не веря, не желая верить в случившееся, он обвел глазами присутствующих, одетых в такие привычно-знакомые маскхостюмы, и только теперь увидел эти чужие лица, чужие глаза, эти русские сапоги на ногах пришельцев!.. Он весь напрягся, и Отто увидел, как явственно обозначились лопатки под пестрой тканью костюма. Чувство сожаления мгновенно сменилось опасением, как бы Курт не совершил необдуманного поступка.

— Курт, ты, кажется, хотел выпить? — сказал он, стараясь произносить слова как можно спокойнее.

Лопатки Курта обострились еще больше, но вдруг обмякли, как бы растаяли, растворились в пятнистой ткани, и весь он обмяк. Однако же, когда он повернулся и пошел к столу, Отто заметил нечто такое, что заставило его внимательнее

приглядеться к Курту: да, конечно, испуг, да, конечно, изумление — все это было написано на лице Курта, но во всем его облике не было той панической отрешенности, когда руки опускаются сами собой. Глядя, как Курт из-под век бросает быстрые взгляды, оценивая обстановку, Отто подумал, что на этого можно будет положиться в случае… В каком случае?..

Он понимал, что в данный момент тот самый безошибочный случай вряд ли может представиться: ливень кончился, а это значит, что русские сейчас поднимут их и поведут в свою часть. Придется искать случай в дороге.

Отто налил Курту, потом себе и всем остальным. Делал он это медленно, все еще надеясь оттянуть ту минуту, когда русский лейтенант прикажет им встать.

Отто не выпускал из поля зрения русского офицера. Более того русский офицер был самым главным объектом внимания. Остальное делалось как бы само собой…

Вот и сейчас Отто услышал, как русский лейтенант что-то сказал стоявшему рядом с ним разведчику. Наверно — у Отто защемило в груди — приказал приготовиться конвоировать пленных…

Но русский разведчик направился к печке, взял стоявшую там на полочке кружку и, возвратившись, подал ее своему лейтенанту. Русский лейтенант шагнул к столу, ловко сгреб бутылку с остатками шнапса и вылил половину содержимого в кружку. Затем поднял ее и, обведя взглядом сидящих за столом, предложил тост:

— Гитлер капут!..

Отто увидел все сразу: как оцепенели Конрад и Виллч, как холуйски потянулся со своей кружкой Ганс, как вздрогнул и рванулся Курт. Отто успел положить ладонь на плечо Курта и придавить его к скамейке. Левой он ударил по руке Ганса, отчего из его кружки выплеснулось немного шнапса… Нет, дело было вовсе не в железной выдержке. Просто это был второй удар. Первый был, когда русский налил свою кружку и поднял ее. До этого момента Кремер все понимал. Русский лейтенант снова спутал все мысли!.. Так, значит, дело было не в ливне?.. Чего же он хочет?.. Чего же — будь он проклят! — хочет этот русский?!

Отто видел по глазам лейтенанта, что тот принял какое-то решение. И для выполнения этого решения русскому нужно, чтобы все было спокойно…

Кремер оглядел испуганного его движением Ганса, и отчаянная мысль, оттеснившая все другие мысли, пришла к нему:

«А-а, ты хочешь спокойствия? Так не будет этого!» Он в два глотка выпил шнапс, схватил бутылку, плеснул себе и русскому,

который только что поставил на стол опорожненную кружку. Подняв свою, глядя с холодным бешенством в глаза русскому, он сказал, громко и четко выговаривая слова:

— Сталин капут!..

Пименов уже в тот самый момент, когда произносил тост, сообразил, что допустил оплошность. «Гитлер капут!» он сказал машинально — много раз за последнее время этот тост поднимался среди своих. Но, как говорится, слово не воробей… И Пименов сразу же приготовился к неизбежной, как ему казалось, реакции немцев. Когда же один из них угодливо поднял свою кружку, а офицер придержал другого — того, что только появился, — положив ему руку на плечо, он облегченно вздохнул: «Пронесло…»

Инциденты были сейчас ни к чему — требовалось до конца сбить немцев с толку, не дать им возможности догадаться, что происходит. Для этого Пименов и налил себе кружку — пусть поломают голову…

Но лейтенант рано утешал себя. Когда он услышал от немца те самые слова, как удержался, не натворил непоправимого — он бы не смог объяснить. Палец сам лег на спусковой крючок автомата… Но в последнее мгновение сообразил:

«Провокация!»

— Стоять!

Это он сказал для своих. И после паузы, переведя дух, добавил, обращаясь к немцам:

— Нет, это нам не подходит… Видимо, мы не сойдемся… Он кивком головы показал своим на выход. Один за другим разведчики покинули комнату. Последним уходил Пименов. Уже в дверях он обернулся:

— Ауфвидерзеен!

Отступив к лесу, лейтенант приказал Панасенкову перегнать лошадей через дорогу и там дожидаться. Потом с остальными разведчиками залег так, чтобы никто не мог выскользнуть из мызы незамеченным.

Немцы не заставили себя долго ждать. Скачала один вышел на крыльцо, прошелся перед домом, затем вышли остальные, все так же неспешно прошли через двор — и вдруг, подойдя к кустарнику, за которым начинался лес, бросились прочь, что было сил.

— Пошли, — сказал Пименов, и разведчики двинулись следом.

9

Страх безостановочно гнал их все дальше и дальше от этого проклятого места. Они не были новичками — ни сам Отто Кремер, ни Конрад, ни Ганс, ни Вилли, ни Курт. Обученные и обстрелянные, они успели побывать в таких переделках, что, казалось, попадись им на пути легион рогатиков из преисподней, они бы не дрогнули… Но тут все было непонятно. Действия русских не поддавались никакой логике. Почему они отпустили такую добычу? Шутка ли немецкий лейтенант и еще четыре солдата, и не просто солдата, а четыре разведчика!.. Почему, черт возьми, им оставили оружие?.. Именно из-за этой непонятности страх так долго не покидал их. Он усугублялся еще погодой: шумела мокрая после ливня листва, шуршала хвоя, перезваниваясь, падали тяжелые капли, и звон их доносился со всех сторон, иногда усиливаясь то слева, то справа, то сзади… И в каждом шорохе, стуке, звоне чудились чьи-то шаги!.. Когда под ногой кого-нибудь из них с треском ломалась ветка, все вздрагивали и убыстряли шаги — им казалось, что треск слышен далеко вокруг, и снова безотчетный страх торопил их — скорей, скорей, скорей!..

Только где-то на десятом километре Отто Кремер почувствовал, что задыхается, — так быстро он шел, почти бежал, и так же быстро бежали за ним остальные. Он остановился, чтобы перевести дыхание. За ним, сгрудившись, остановилась вся группа. Отто обернулся, предостерегающе поднял руку и стал вслушиваться в шорохи и звоны лесной чащи. На гладком лбу лейтенанта напряженно выветвились тонкие морщинки. Так он простоял минуты две, медленно поворачивая голову то в одну, то в другую стороны. Но что можно было услышать в этом хаосе разнообразнейших звуков?! Пожав плечами, он зашагал снова, но уже медленнее, и поскольку острое чувство страха притупилось временем, усталостью и однообразием, он опять смог думать, анализировать, восстанавливая прошедшие события.

Шаг за шагом припоминая случившееся, лейтенант поймал себя на том, что он подсознательно старается уйти от догадки, которая давно родилась и все пытается пробиться на поверхность, а он топит ее, топит… До сих пор топил, но теперь уже не может. Пора признаться: русский лейтенант перехитрил его. Ошибка заключалась в том, что Отто в своих размышлениях отталкивался от собственной персоны и своих четверых разведчиков. А они вовсе не нужны были русским. Русским нужна была их дивизия! И он, Отто Кремер, лейтенант Кремер, ведет сейчас русских

кратчайшим путем к расположению своей части… Надо быть совершенным идиотом, чтобы не сообразить сразу, для чего русские отпустили их. Единственное, что он мог привести себе в оправдание, — невероятность всей истории. Но что же делать теперь? Попытаться увести русских в ложном направлении?

Отто Кремер отмахнулся от этой мысли. Поздно! Поздно, мой друг. Ты уже указал направление. Теперь не обманешь этого славянина. Любой вольт в сторону будет разгадан. К тому же — ведь это риск. Ведь русские могут разозлиться, что их пытаются водить за нос.

Что же делать?

Позаботиться о самом себе.

Это не трусость. Он человек культурный, родовитый, цивилизованный. Он должен сохранить себя не только для себя — для Германии. И поэтому, не стесняясь, перехитрить судьбу, перевернуть обстоятельства, которые складываются против него. Прежде всего — добраться до своей части невредимым. Если не делать глупостей, это возможно. Затем каким-то образом скрыть это дурацкое приключение в мызе. Идеальный случай — уничтожить своих ребят, чтобы не было свидетелей.

Однако это исключено, голыми руками их не возьмешь, они сами кого хочешь уничтожат. Но ведь свидетелей все же не должно быть! Не должно быть…

«И не будет! — озарило его. — Не будет, если связать их круговой порукой. Связать их общей кровью».

Кремер оглядел своих парней. На Вилли можно положиться слепо. И на Курта если ему не расчет продавать. И на Конрада — если он будет бояться по-настоящему, если он влипнет по-настоящему. А вот Ганс… Ганс, который так угодливо бросился чокаться с русским лейтенантом — это слизняк. Он продаст при случае, не задумываясь. Так почему бы не воспользоваться его кровью? — чтобы спаять остальных парней, чтобы они увязли в этой крови — а Ганс замолчал навсегда?

Когда эта мысль окончательно вызрела, Отто остановился.

Сопровождать было легко — разведчики устроили немцам «коридорчик»: слева шли Пименов и Стахов, справа — Тяглый и Хлопин. Поначалу, правда, пришлось поднажать — обалдевшие фрицы уносили ноги с завидной резвостью…

Пименов не сомневался, что до сих пор все делал правильно, хотя видел далеко впереди мелькающие фигурки немцев, что-то ныло в душе: «Эх, жаль!» Но с другой стороны, всех не перебьешь, да и задача так не стоит… Кто-то должен будет после воины восстанавливать, скажем, тот же Берлин, о котором в сводках говорилось, что он подвергается интенсивным бомбардировкам

союзников…

Стахов, шедший впереди, думал о лейтенанте. Тогда, в мызе, он не очень-то понял замысел Пименова и только теперь оценил его по достоинству. «Вот это был спектакль! — думал он, изредка покачивая головой от восхищения и украдкой оглядываясь на лейтенанта. — Артист!»…

Он представил себе, как, вернувшись, будет рассказывать дружкам о хитром замысле командира, как те будут охать и ахать, а некоторые недоверчиво щуриться и показывать согнутый указательный палец: загибаешь, дескать!..

В это мгновение он сноса увидел немцев, вышедших на небольшую поляну. Офицер остановился, к нему подтянулись остальные. Стахов оглянулся, поймал взгляд Пименова и сделал ему знаки рукой: сначала загреб ладонью к себе, предлагая лейтенанту подойти, потом быстро повернул руку ладонью книзу и произвел несколько движений, означавших, что подходить нужно, не обнаруживая себя. Пименов кивнул в ответ и приблизился совсем неслышно.

Немцы, сбившись в плотную кучку, внимательно слушали своего офицера, который что-то говорил им, изредка взмахивая правой рукой, сжатой в кулак. Вдруг один из немцев отскочил, замахал руками. Заметался. Судя по тому, как он поворачивал голову из стороны в сторону, ему хотелось объяснить что-то сразу всем. Он протягивал руки то к одному, то к другому, но все четверо отчужденно смотрели на него. Тогда он закричал, повернулся и побежал, но двое догнали его и повалили на землю. Один из них сорвал ремень с автомата и связал им поверженному немцу руки, заломив их за спину. Потом они его бросили, подошли к офицеру и снова стали совещаться, оглядываясь по сторонам. Наконец до чего-то договорились, стали расстегивать масккостюмы и вытаскивать брючные ремни. Высокий темноволосый немец собрал их, связал и сделал петлю.

Потом они повесили своего связанного товарища.

Офицер все поглядывал на часы. Минут через пять он взглянул в последний раз, махнул рукой — и те двое, что держали конец ремня, отпустили его, и повешенный грузно свалился на мокрую траву. Все разобрали ремни, подпоясались, застегнули масккостюмы и быстро пошли прочь.

Пименов обернулся к Стахову. Тот был бледен; скулы четко вырезались на его лице.

— За мной, — негромко сказал лейтенант и, уже двинувшись, добавил: — Шире шаг…

Лицо мертвого Ганса поразило Кремера. Раньше Отто посмеивался про себя, глядя на круглолицего с маленькими

глазками солдатика, который носил челку и подстригал усы «под фюрера». Наивное стремление походить на своего вождя вначале вызвало возмущение у Отто — это же карикатура! Но он решил не поднимать этот вопрос. Можно было влипнуть в неприятную историю, ведь неизвестно, как могли истолковать его замечание. Поэтому он ничего не сказал Гансу, мнимое же сходство стало его только забавлять…

Но мертвый Ганс преобразился. Вдруг каким-то неведомым образом его лицо, вытянутое и раздернутое смертью, совершенно потеряло прежнее выражение. Оно стало просто другим. Оно было теперь похоже на лицо фюрера…

Кремер отвернулся и зашагал прочь. За ним двинулись все остальные. Шагая меж стволов, Отто еще некоторое время никак не мог отделаться от тоскливого ощущения этой внезапно возникшей похожести. Это ведь лицо Гитлера… Только мертвого Гитлера…

Впереди показался просвет. Наконец-то она, просека! Отто на ходу расстегнул планшет и взглянул на карту: еще два километра, и они будут у себя. Он вспомнил, как русский лейтенант внимательно рассматривал эту карту, пытаясь найти на ней хоть какие-нибудь отметки… Хорошо, что его учили в школе разведки. «Помните, Кремер, — никаких отметок, все — в уме». Он застегнул планшет и ускорил шаги. Уже преодолев просеку наполовину, Отто вдруг увидел, как на той стороне ее качнулись ветки кустарника, и из него вышли двое русских. Кремер беспомощно оглянулся. Сзади них из леса выходили еще двое. Бессильная злоба комком подкатила к горлу Кремера. Вот теперь конец. Вот теперь, когда автомат русского лейтенанта не просто висит на его груди, а направлен в твою грудь, Отто Кремер, — теперь точно конец.

— Ваффен хинлеген!..

Русский лейтенант произнес ту самую команду, которой Отто ждал и не дождался там, в мызе. Но теперь он уже знал, почему там не было этой команды. Он услышал глухие звуки за спиной — звуки падающих в траву автоматов, И тогда он сорвал с плеча свой «шмайссер», бросил на землю и в ярости стал топтать его ногами…

10

Они уже вышли к мызе и, растянувшись цепочкой, пересекали поляну, когда шедший впереди всех старшина Тяглый вдруг закричал:

— Ложись!..

Лейтенант Пименов замыкал группу и вначале ничего не понял. Тяглый стал отступать как-то в сторону, стараясь не упускать из виду пленных и в то же время наставляя автомат в сторону ельничка на кромке леса по ту сторону поляны. Пименов глянул туда же — и увидел выходящих из леса немцев. Их было много, и они обнаружили разведчиков. Это было видно по их действиям: вышедшие первыми держали автоматы наготове, следовавшие за ними перебегали, забирая левее и левее, стараясь отрезать разведчиков от леса и вытеснить их на открытое место в сторону дороги…

Мозг сработал мгновенно: «Стахову — влево, в кусты… и чтобы не дал немцам зайти в тыл… Тяглому — к забору мызы, вправо… Отходить за мызу и под ее прикрытием — через дорогу… А там — на лошадей и ходу!..»

Но сейчас же, поверх всех этих ординарных соображений всплыло одно: донесение должно быть доставлено обязательно!.. Уйти, может, и удастся… А Панасенков должен уйти!..

Пименов набрал воздуха в легкие и закричал громко, как только мог:

— Витя! Доложи — немцы находятся в двенадцати километрах на юго-запад от мызы!.. Повторяю: немцы находятся в двенадцати километрах на юго-запад от мызы!..

Пименов не ждал ответа — Панасенков должен был догадаться, что выдавать себя нельзя — и теперь занялся немцами. Прежде всего — четверка пленных. Вместо того чтобы лечь, как приказал им старшина, они набросились на Тяглого и сбили его с ног. Потом побежали через поляну, крича по-немецки: «Мы свои! Мы свои!»…

Пименов целился тщательно, как, может быть, никогда еще не целился за всю войну. Немецкий офицер бежал, прыгая из стороны в сторону, но Пименов не выпускал его из прорези прицела: теперь он не хотел, чтобы этот немец после войны строил новую Германию…

Очередь была короткой, немец упал сразу, и лейтенант точно знал, что ему уже не встать… И сразу отпустило напряжение, он как-то расслабился и мысль снова заработала четко. Он крикнул Тяглому, чтобы тот отползал к забору, Стахову же только показал

рукой на кусты слева, и тот, мотнув головой — понял! — скользнул между веток.

Дробно ударили автоматы с опушки, и лейтенант почувствовал, как левое бедро обожгло. Он упал и пополз чуть-чуть вправо — там стоял старый замшелый пенек. За этим пеньком и устроился. Толстый, выгнувшийся дугой, корень образовал нечто вроде амбразуры. Пименов просунул под него автомат и, поймав на мушку бегущего немца, нажал на спусковой крючок. Немец упал…

«Надо хоть минут десяток придержать их здесь… — думал Пименов. — Пусть Панасенков ускачет подальше…»

Он посмотрел влево и порадовался тому, как действует Стахов. Тот бил короткими очередями и после двух-трех очередей переползал на другую сторону обширного куста. Постреляв оттуда, снова возвращался на старое место… Справа, от забора вел огонь Тяглый.

«Пора уходить…» — подумал Пименов и оглянулся, прикидывая путь, которым удобнее было бы отойти. Он наметил себе пункты, где можно было после перебежки переждать огонь, и поднялся…

Когда он, часто и прерывисто дыша, плюхнулся за куст, который стоял недалеко от забора мызы на западной стороне ее, ему послышалась стрельба из-за дороги. Не может быть!.. Неужели Панасенков не слышал приказа?! Пименов прислушался и совершенно явственно услышал длинные очереди с той стороны дороги. Он скрипнул зубами от злости и отчаяния… Дурак!.. Ах, дурак!..

Этот мальчишка рвется в бой!.. Ну, конечно же, — это его первый бой!.. Слева рокотнула я осеклась очередь… Пименов томительно ждал ее повторения, но повторения не было и не было… Значит, Стахов…

Пименов механически, сквозь горькую догадку о судьбе Стахова, подумал о том, что сейчас немцы свободно смогут продвинуться ему в тыл… Но додумать он не успел — справа, раз за разом, простучало несколько суматошных очередей, потом раздался взрыв… И снова Пименов отметил: «И Тяглый… уж раз свою противотанковую ахнул…»

Теперь он знал, что и ему не уйти. Но не это его пугало: он слушал и слушал, как стучат из-за дороги очереди папасенковского автомата и мучительно думал, догадается ли тот наконец, что ему надо выполнять приказ!.. Но, вот, не стало слышно очередей от Папасенкова, и лейтенант облегченно вздохнул: одумался!..

И когда пуля ударила ему в грудь, он все еще думал о том,

что, слава богу, Панасенков догадался, наконец…

Едва услышав повторенный дважды приказ лейтенанта, Панасенков метнулся было к лошадям, но, увидев в просвете между соснами гитлеровцев, заходивших во фланг разведчикам, остановился. Ему показалось — он не смог пересчитать их, — но ему показалось, что их было очень много. «Конец ребятам!» — подумал он и тут же ужаснулся своей мысли, ужаснулся тому, что подумал о них уже отдельно от себя. И перед ним с неумолимой ясностью промелькнул весь сегодняшний день, вернее то, что из этого дня относилось непосредственно к нему. И стыд, горячий и злой стыд, пронизал все его естество. Он мгновенно вспомнил, как там, на Гауе, нелепо тыкал отводом автомата в лицо пленного фрица, и то, как суетился в мызе, и ту, как ему показалось, «отставку», когда его оставили здесь с лошадьми. И вот теперь ему — уходить? Уходить и остаться живым? Уходить — а здесь будут погибать его товарищи?!

И приказ был забыт напрочь… Панасенков бросился к дороге, продираясь сквозь кусты напрямик, не замечая хлещущих по лицу веток. Свалившись в кювет, он пристроил на бровке автомат и, как только очередной немец выскочил из-за елочки, дал длинную очередь. Немец упал, а он строчил и строчил, и спохватился только тогда, когда кончился рожок.

Если бы его тогда спросили, целился ли он — он не смог бы ответить. Наверное, раз тот упал. Но он не помнил. Просто он очень хотел убить. И убил.

Панасенков нажал на защелку, вынул пустой рожок, сунул его, не глядя, за голенище и вставил новый. Смертно просвиристев, над самой головой пролетел рой пуль. Срезанная ими ветка упала ему на пилотку и защекотала за ухом. Он недоуменно смахнул ее, не сразу догадавшись, откуда она взялась. Вторая очередь заставила его ткнуться носом в сырую стенку кювета, — пули прошли совсем низко. Панасенков отполз чуть-чуть вправо: ему показалось, что там кювет глубже. Осторожно выглянул. Все его тело тряслось мелкой дрожью.

Но это не был страх. Он дрожал от возбуждения. Наконец-то он ведет бой свой первый бой! И он никуда не уйдет отсюда!

Там, на другой стороне дороги, снова замелькали серо-зеленые фигурки. Но теперь Панасенхов старательно выцеливал бегущих, бил короткими очередями. После каждой очереди прислушивался и радовался, когда со стороны мызы откликались автоматы разведчиков.

Потом он снова стрелял по бегущим и удивлялся тому, как они падали, и радовался, что он не зря лежит в этом сыром кювете. В одну из пауз он обратил внимание, что от мызы стучит

уже только один автомат, и затревожился: что там: у них? Но немцы опять начали перебежки, и он стрелял, стрелял, стрелял… Кончился второй рожок. Меняя его, он повернулся на правый бок и вдруг ощутил резкий удар в левое плечо. «Какая здоровая ветка свалилась», — подумал он. Но по плечу побежало что-то липкое и горячее. Он повернул голову и увидел, как сквозь ткань гимнастерки проступало и ширилось темное пятно. «Ранен?» удивленно подумал Панасенков и попробовал пошевелить левой рукой. Рука не двигалась. Он испуганно приподнялся, и в этот момент второй удар опрокинул его…

…Настойчиво стучали дятлы. Они стучали непривычно быстро, а главное, громко — так громко, что стук их, отдаваясь в голове, мешал сосредоточиться. А ему нужно было обязательно сосредоточиться, чтобы вспомнить что-то самое главное… Что же было?.. Ах да — они выскочили из мызы, оставив там тех, и лейтенант торопливо объяснил ему, Панасенкову, что надо перегнать лошадей за дорогу, так, чтобы те в мызе услышали и подумали, будто все уехали… И он гнал коней через дорогу… А дальше все заволакивала обида, горше которой и придумать нельзя: его оставили, как мальчишку, который больше ни на что не способен, кроме как стеречь лошадей… А потом был бой. И падали серо-зеленые фигурки под его очередями. Но не это он силился вспомнить. Это было до боя…

Что же это было?..

Он начинал вспоминать все сначала, и скова слышал скороговорку лейтенанта, снова гнал коней через дорогу… А дальше опять захлестывала волной обида, и он никак не мог вспомнить то самое…

В короткой жизни Панасенкова не много было обид, которые помнились бы долго. Лишь одну он не мог забыть, нанесенную ему еще в детстве, когда он учился в пятом классе. Жил он тогда с отцом и матерью в одноэтажном доме прямо возле линии железной дороги, на которой отец работал ремонтником. Мимо окон проносились пышущие паром локомотивы, из окошек которых выглядывали черные с белозубым» улыбками машинисты. Виктор мечтал стать машинистом, но после поездки в «Артек», куда его послали за то, что он больше всех собрал металлолома, — душа его раздвоилась. Когда он увидел море и уходящие за линию горизонта корабли, он решил стать капитаном дальнего плавания, хотя мечта о вождении грохочущих локомотивов оставалась в его душе. Отец и мать частенько посмеивались над его раздвоенностью. Он любил их бездумно — просто любил, потому что — родители. Мать существовала для того, чтобы кормить и латать штаны, штопать

носки, стирать. Отец — чтобы ходить в школу, когда вызывали родителей, и стегать ремнем. Стегал больше для порядка, и Витька привык, хныкал лишь для того, чтобы показать, будто ему больно и в самом деле. Соседского же Леньку, Витькиного дружка и однокашника, Ленькин отец бил смертным боем. И вот однажды, когда на школьном дворе футбольный матч между пятым «А» и пятым «Б» был в разгаре, Ленька разбил мячом окно в учительской. Виктор представил себе, что будет с Ленькой дома, и взял вину на себя. Отцу Виктора предложили возместить «нанесенный ущерб». Он отстегал сына, но платить не стал, а вставил стекло сам. Витька, гордый своим поступком, побежал на улицу. И там он увидел Леньку. Под левым глазом друга багровел огромный синяк. Оказывается, Ленькин отец избил сына «для профилактики» — тоже, дескать, там был, небось без него не обошлось!.. Виктор был потрясен напрасностью своей жертвы и никак не мог простить Ленькиному отцу этой обиды…

Дятлы перестали стучать как-то сразу. От наступившей тишины Панасенков очнулся и открыл глаза. Прямо над головой висела надломленная пулей ветка. Она держалась на тонкой ленточке коры и тихо покачивалась. Сквозь поредевшую листву кустарника проглядывал рыжеватый ствол сосенки, уходившей кроной в белые-белые облака…

И в этой тишине вдруг отчетливо, словно Панасенков услышал его только сейчас, прозвучал приказ лейтенанта: «Доложи — немцы находятся в двенадцати километрах на юго-запад от мызы! Повторяю…»

Так вот чего он никак не мог вспомнить!

И сразу с ужасающей ясностью до него дошел смысл наступившей тишины: никаких дятлов не было. Просто замолчали автоматы, и молчание их не нужно было объяснять.

Что же он наделал!.. Что же он наделал!..

Это ему, Панасенкову, приказывал командир уходить, потому что никто, кроме него, не мог добраться до своих и доложить… А почему, собственно, только он?.. У них тоже была еще возможность уйти, отстреливаясь. Они были в лесу, не на открытом месте, и…

Новая мысль ожгла его мозг: могли уйти… а могли и не уйти… Да-да, могли уйти, а могли и не уйти!..

А он мог!..

Потому лейтенант и выбрал его, чтобы — наверняка…

Могли уйти… А он не выполнил приказ, вмешался в перестрелку, и они уже не могли уйти — они оттягивали немцев на себя, чтобы дать возможность ему, идиоту, опомниться и ускакать с донесением…

И теперь они лежат там на опушке, и фрицы обшаривают у них карманы. Лежат, потому что он, Панасенков, не исполнил свой долг… И по его вине они лежат там, мертвые…

Могли уйти, а могли и не уйти… А потом они уже не могли уйти. Из-за него…

А он мог…

Почему — «мог»?

Он должен сделать это сейчас…

Панасенков с трудом перевалился на живот. Боль резанула так, что у него потемнело в глазах. Он полежал, пока боль не приутихла, и поднял голову.

От мызы по направлению к нему шел немец. В правой руке он держал автомат, помахивая им в такт шагам. Казалось, будто он идет с тросточкой…

Теперь уходить было нельзя. Панасенков скосил глаза налево. Автомат лежал на бровке в двух шагах от него.

«Так, — подумал он, — надо подползти к автомату… Потом срезать этого фрица и добраться до лошадей…» Он прикинул расстояние и решил подпустить немца поближе. Вон, до той березки…

Стиснув зубы, Панасенков пополз по кювету, превозмогая режущую боль в боку. Ползти было трудно, левая рука не действовала. Но он все-таки дополз. Правой рукой выкопал ямку, сунул автомат рожком в нее и попробовал прицелиться…

Немец шел не спеша. Панасенков силился разглядеть его, но по полянке вдруг поплыл туман и закрыл немца. Через некоторое время туман растаял.

Немец шел уже посередине поляны.

И снова появился туман…

«Странно, — подумал Панасенков, — откуда мог взяться туман?..»

На этот раз он был какого-то необычного, розоватого оттенка. «Только бы он не наплыл, когда тот будет подходить к березке!» — мелькнуло в голове у Панасенкова, и тут же новая полоса тумана, уже сизо-багрового, застлала всю поляну, и березку, и дорогу…

Когда туман рассеялся, Панасенков не увидел немца. Он испугался. Березка вот она, за дорогой слева, — есть, а немец исчез!.. Правда, что-то мешало Панасенкову видеть всю поляну. Какое-то препятствие появилось перед его глазами. Он попытался вглядеться в препятствие сквозь снова наплывающий сизо-багровый туман и увидел, что это был сапог — покрытый пылью тяжелый немецкий сапог.

«Надо убрать его…»- подумал он и зашевелился.

Прямо над головой раскатился гром, слепяще сверкнула нестерпимо яркая молния. Панасенков еще дернулся конвульсивно, пытаясь вытянуть вперед руку, чтобы убрать, убрать этот невесть откуда взявшийся, сапог, мешающий ему выцелить врага…

Стоявший над ним немец толкнул его ногой, отчего он перекатился на спину, постоял немного, закинул автомат за плечо и пошел прочь.

А Панасенков остался одиноко лежать в кювете, отделенный серой лентой дороги от своих товарищей. Лежал отдельно от них — боец, нарушивший приказ. Отстреленная пулей ветка, висевшая на лоскутке коры, все так же покачивалась над ним, как маятник, отсчитывая время, потерянное дивизией по его, Панасенкова, вине.

11

Хлопин, как всегда, устроился обстоятельно, со всеми удобствами. С помощью финки он соорудил себе из валявшегося неподалеку обломка доски от снарядного ящика нечто вроде лопатки, которой затем углубил и выровнял выбранную им воронку и сделал в передней стенке импровизированного окопчика небольшие ниши для гранат и запасных рожков. Из остатков доски он сделал подобие сошек и уложил на них ствол своего автомата. Теперь, в случае чего, можно будет вести прицельный огонь…

Когда они со Стаховым вышли на эту опушку и увидели долинку, по дну которой вилась неширокая речушка, и на той стороне немцев, роющих окопы, Стахов хотел тут же идти обратно, но Хлопин настоял на том, чтобы выбрать сначала место для НП, — там, где они находились, позиция была неудобной. Они прошли немного левее и набрели на эту воронку, откуда открывался хороший обзор, да и подход к ней маскировали кусты боярышника.

— От теперь топай, докладай… — сказал Хлопин. Стахов нырнул в чащу леса и исчез, а Хлопин начал устраиваться. Он знал, что ждать придется довольно долго. Командир, направляя их сюда, объяснил задачу: при обнаружении противника Хлопину оставаться на месте, вести наблюдение, нанося замеченные огневые точки на стрелковую карточку, а Стахову возвращаться с докладом…

Стрелковая карточка, которую Хлопин начал заполнять сразу же после ухода Стахова, пестрела теперь многочисленными значками. По небу плыли рыхлые белые облака, чуть сероватые снизу. Освещенный солнцем противоположный склон долинки был хорошо виден. Хлопин смотрел на копошащихся там немцев и думал о предусмотрительности лейтенанта Пименова: вот ведь, уже и не видно пулеметного гнезда возле той вдочки справа, оно прикрыто дерном, присыпано травой — не разглядишь! Раньше не отметил бы его в стрелковой карточке, сейчас вряд ли нашел бы. И все остальные огневые точки, которые пока еще хорошо видны, через какое-то время исчезнут, старательно замаскированные. Только стараются фрицы напрасно: у него, Ивана Хлопина, все, что надо, уже взято на учет, и когда дивизия придет сюда и развернется, в руках начальника штаба будет полная картина вражеской обороны…

Он вдруг забеспокоился — на той стороне происходило что-то не совсем понятное: немцы, вырыв Окопы не глубже, чем по

колено, замаскировали их кое-как, чего с ними, аккуратистами, никогда не случалось, и ушли. Остались только саперы, которые тянули колючую проволоку, цепляя ее на колья.

«Как же они будут там помещаться? — удивленно подумал он. И тут же догадка осенила его: — Они ж, подлецы, специально оставили их такими — пойдут наши в атаку, проволоку преодолеют и начнут прыгать в окоп… а это не окоп… и укрыться негде… И тогда из настоящих окопов немцы начнут косить наших очередями!.. То-то и маскировку, гады, такую сделали…»

Он старательно вычертил линию ложных окопов и под ней крупными буквами написал «Омманка!!!» — три восклицательных знака торчали, как колья заграждения.

…Солнце уже перекатилось на ту сторону, когда Хлопин услышал справа от себя шум, какой обычно бывает, когда по лесу идет много людей. Он удивился неужели так быстро обернулись наши? Уже вылезая из воронки, чтобы пойти им навстречу, Хлопин услышал голоса идущих и замер: говорили по-немецки!.. Он снова сполз в свое укрытие и стал наблюдать… Затрещали кусты, и из леса вывалили немцы! Их било довольно много, они шли, оживленно разговаривая. Хлопин заметил, что почти все они несли по два автомата, а один, судя по всему офицер, нес на руке… нет, этого не может быть! Хлопин старательно вглядывался и, холодея от ужаса, узнавал китель, который нес на руке немец. Это был китель лейтенанта Пименова!.. Хлопин вспомнил, что часа два или три назад ему послышалась стрельба, но это было далеко и доносилось чуть слышно, так что он не придал ей значения…

Они проходили мимо него — враги, убившие его друзей. Он провожал каждого глазами, словно старался запомнить их. Они уже перешли на ту сторону речушки, когда Хлопин обнаружил, что в левой руке он держит автомат, который снял с сошек, а на правую ладонь наступил сапогом…

Да, он не имел права стрелять. Теперь в живых остался он один. И он должен был довести дело до конца…

Он бежал так быстро, как только мог… Потом он шел, слушая, как бешено стучит в груди сердце. И опять бежал, бежал, бежал…

12

На войне убивают. Эта истина настолько общеизвестна и стара, что ее как-то забываешь. Забываешь, потому что помнить об этом годы подряд изо дня в день просто невозможно. Да и тысячи других мелких и крупных забот заслоняют эту истину: нужно постирать портянки, которые стали такими, что, когда их просушишь, звенят на ветру, словно жестяные; нужно сходить к оружейнику пусть посмотрит пистолет, а то последнее время что-то барахлит и не выбрасывает иногда стреляные гильзы; нужно написать письмо матери; нужно… да мало ли чего нужно человеку на войне.

Смерть напоминает о себе. Напоминает по-разному, и по-разному относятся к ней, в зависимости от обстоятельств. Когда после наступления в штаб приходят донесения о потерях, — это только цифры, которые огорчают, если потери большие; а если небольшие, то даже приносят некоторое удовлетворение: слава богу не так уж… Но вот мелькает знакомая фамилия: Терещенко. Терещенко… Терещенко… А-а… капитан Терещенко!.. Это надо же! Мы с ним как-то ночь коротали на НП… «Казбеком» у него разжился… Хороший мужик… был!.. И огорчение приобретает уже другую окраску, личную. И вдруг… Сорока?! Какой из 427-го?.. Не может быть… Сергей?! А-ах, Серега!.. С первых дней рядом… Из одного котелка ели, из одной кружки пили!.. А тут еще очевидцы. Один, который тоже с первых дней, молчит; другой — из новеньких — возбужденно рассказывает: «Я только хотел к нему в воронку переползти, а тут как ахнет… Так ему осколком всю черепушку и отнесло!..» И уже к говорящему возникает мгновенная неприязнь: «Черепушку»!.. Это о Сережке-то так!.. Сам ты, дерьмо собачье, «черепушка»!.. Это ж такая голова… была!..

Ляжет на сердце непомерная тяжесть и долго еще давит и давит… И, наконец, у самого над ухом чиркнет пуля, вопьется в ствол березки, из-за которой ты только выскочил, удивленно глянешь на отверстие, по краям которого кора еще шевелится, и белым холодом смерти повеет от нее на тебя.

Свою смерть капитан Кулемин уже видел однажды — она влетела в блиндаж сверху и застряла между балками перекрытия. Кулемин услышал удар, треск и, зажмурившись, сжался в комок, ожидая взрыва. «Вот-вот!.. Вот-вот!.. Вот-вот!..» — бешено стучало в груди. Но взрыва все не было, и он открыл глаза. Прямо на него смотрело тупое рыльце снаряда, колпачок взрывателя тускло поблескивал в тоненьком лучике света, просочившемся сквозь

пролом в перекрытии. Кулемин завороженно смотрел на него, не двигаясь и не дыша. Ему казалось, что стоит пошевелиться — и сразу рванет!..

В этот момент в блиндаж протиснулся старшина. Кулемин дико и пронзительно заорал на него: «Стой!.. И не шевелись!..» Старшина испуганно уставился на него, не понимая, в чем дело, и тогда Кулемин медленным движением поднял правую руку и пальцем указал на неразорвавшийся снаряд. Старшина быстро-быстро заморгал глазами, но вдруг, сообразив, успокоенно сказал: «Вже ничего нэ будэ… — тильки якщо упадэ… А так — ничего нэ будэ…»

— Вызови саперов, — почему-то шепотом сказал Кулемин и выскочил вслед за старшиной из блиндажа, едва не ставшего его могилой.

Было это давно, около года тому назад, но до сих пор у капитана осталась неприязнь к закрытым помещениям. Ему казалось, что на открытом месте можно как-нибудь отпрыгнуть в сторону, спрятаться, и хотя наивность подобных рассуждений была очевидна, Кулемин упорно избегал долгого сидения в блиндажах и других укрытиях…

Вот и сейчас Кулемин, попыхивая «Казбеком», с неодобрением поглядывал на узкую щель, ведущую в блиндаж, где временно обосновался штаб дивизии. Стенки щели были обшиты досками с немецкой аккуратностью, и такие же аккуратные деревянные ступеньки вели вниз. Папироса кончилась, но капитан все еще пытался тянуть «фабрику». На душе было тошно. Он старался не думать о Пименове и все-таки думал о нем. Он говорил про себя: «Эх, Паша!.. Эх!..» — и не было больше слов, не хватало, не знал он их, все растерял куда-то, сейчас, в такой момент, растерял, когда, кажется, хоть умри, а выговорись. А ведь он знал столько слов… «Ведь я знаю столько слов! — убеждал он себя. — Ведь это же моя профессия. Надо только сосредоточиться — и вспомнить. И сразу будет легче, я же знаю…»

Но он не мог сосредоточиться, и вспомнить не мог вообще ничего. И вдруг понял чуть ли не с ужасом, что даже Пименова забыл… Только какая-то тень осталась в памяти, линия, общий облик, освещенный улыбкой, как в тот самый первый момент, когда они встретились взглядами — угадавшие друг друга в толчее приемной генерала Суржанова.

«А может, так и надо? — подумал было Кулемин, и тут же отрубил решительно: — Так нельзя. Нельзя!.. Ведь с ним ушла часть моей души. Как же я могу отказаться от них?..»

«А многих ли ты помнишь, кто ушел прежде? — год назад, и

два, и три? ты всех их помнишь? и тех, кто погиб месяц назад — ты помнишь их тоже?» — спросил он себя. И ответил: — «Нет».

Потому что вспоминать о них времени почти нет: не пришло еще это время, чтобы их вспоминать. Потому что сейчас ты должен думать о живых. И завтра тоже — если сам останешься жив. Ты должен о них думать все время — может быть, благодаря этому больше останется в живых. И вот если мы доживем — мы вспомним…

А вспомнят ли те, что придут после нас?.. Что им будет вспоминать — наши рассказы? Они будут их слушать… Но ведь тот мир, если самому не пережить его, так далек от мира обычного, от семенных ссор, от неурядиц на работе, от отчаянья из-за разболевшегося зуба… Поймут ли они нас?..

«Не думают, какою куплен кровью», — вдруг вспомнил он по-итальянски строку из Данте, и повторил, вслушиваясь в каждое слово: «Не думают, какою куплен кровью…» Эта жестокая мысль вдруг принесла ему облегчение. Он все повторял и повторял эту строку, и какая-то отрешенность и покой снизошли на него. «Я же знал, — думал он, — что какие-то настоящие слова всегда есть. По любому поводу. Их надо только вспомнить — и сразу станет ясно, просто и, может быть, — легко.

«Не думают, какою куплен кровью…»

Прощай, Паша Пименов. Я знал тебя мало, но мы ведь не зря сразу угадали друг друга в толпе. Я еще вспомню тебя. Твои глаза, нос и губы. И выпью за тебя… А сейчас прости — и уйди. Ведь мне пора идти к Касаеву и доложить о результатах твоего поиска. Я должен быть спокоен, точен и уверен в себе, как я уверен сейчас в добытых тобою разведданных. Ну, прощай…»

Он затянулся последний раз, вдохнул горечь горелой бумаги, выругавшись, бросил окурок, притоптал его сапогом и спустился в блиндаж.

Штаб свертывался. Связисты уже отсоединили телефонные аппараты и укладывали их в большой зеленый ящик. В другой ящик, железный, громко именовавшийся сейфом, штабные укладывали папки с бумагами. Кулемин чуть не споткнулся об него и, еще раз ругнувшись, нырнул в следующий отсек. Войдя туда, он привычным движением поднес правую руку к козырьку фуражки и тут же растерянно опустил ее — отсек был пуст. Но раздалось легкое покряхтывание, и по ту сторону стола показалась сначала спина, а потом кирпично-красное от натуги лицо Касаева — полковник переобувался. Кулемин снова козырнул, Касаев махнул на него рукой, не дав сказать и слова.

— Получены данные авиаразведки, — буркнул он, притопывая только что надетым сапогом, — да и левый сосед уже

на марше…

Полковник взял карандаш и ткнул им в точку на карте, лежащей на столе;

— Будем выдвигаться сюда…

Потом, что-то припомнив, нахмурил брови:

— А эти твои… Живыми пусть не рискуют мне на глаза показываться…

Кулемин даже задохнулся, закрыл на мгновение глаза… Медленно выдохнул… «Не думают, какою…»

— Они уже ничем не рискуют, — сказал он сухо и сдержанно. И, помедлив, добавил уставное «товарищ полковник», хотя сказать ему хотелось совсем иное.

Где-то неподалеку взревел танк. Лязгало железо, гудели, надвигаясь, моторы, мелко дрожала земля. «Действовать! действовать! действовать! — вот в чем правда и спасение», — думал Кулемин, и чувство неприязни к этому человеку, что стоял перед ним, захлестнулось другим, более сильным и властным: вперед! туда, где в двенадцати километрах на юго-запад от мызы стоит ненавистный враг, которого необходимо настигнуть и раздавить к чертовой матери!..

13

Был первый день октября — без солнца и без теней; сухой день, слегка окрашенный желто-кирпичной листвою. Было тихо. Ведь дивизионной разведроте полагается стоять далеко в тылу. Это и понятно: если не считать поисков и особых заданий — вполне тыловое подразделение.

Уже почти неделю работы было мало, а вот сегодня случилось. Небольшое такое задание, но не без риска, и исполнителей требовало классных. Капитан Кулемин вызвал ударную группу, и смотрел, как они подходили один за другим, неторопливые, вальяжные, как рассаживались вокруг — кто на седле, а кто на свежий пенек; они грызли семечки и трепались все с той же ленцой, и насмешничали, и даже своего капитана пытались втянуть в этот пустой забавный разговор.

Это были лучшие ребята из разных взводов; их только для таких дел и собирали вместе. Их было четверо, и вместе с ними лейтенант — совсем еще молодой, но три года фронта за плечами и грудь в орденах — ведь говорят, что разведчику схватить орден — пустяк дело… Лейтенант был строен, и ладен, и молчалив. Уже вторая неделя пошла, как он прибыл в их разведроту, все уже знали, как он улыбается, но никто не слышал, чтобы он произнес фразу длиннее, чем из трех слов.

Капитан Кулемин сказал:

— Дело будет обычное… — И объяснил свой план, очень смелый и оригинальный; но уж если не проскочит… и на этот случай тоже был план, но лучше б до него не доходило.

Потом он ждал, что они скажут, но никто не сказал ни слова. Они сидели сосредоточенные и подобравшиеся; что-то преобразило их за эти несколько минут.

Падали листья. Солнца не было, не было и теней. — Да, вот еще что, сказал капитан Кулемин, улыбнувшись лейтенанту, — вы тут еще немного отдохните, обомнитесь, обзнакомьтесь с людьми. А я… Пожалуй, сегодня я свожу их сам.